Георгий Юдин
Птица Сирин и всадник на белом коне
Д











Георгий Юдин

Птица Сирин и всадник на белом коне

Иллюстрации автора

Москва
«Детская литература»
1991

ББК 84Р7
Ю16



ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Ваши отзывы
об этой книге
присылайте по адресу:
125047, Москва,
ул. Горького, 43,
Дом детской книги.

Ю $\frac{4803010201-332}{М101(03)-91}$ 320–91

ISBN 5-08-002526-3



Моей маме

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Давным-давно, когда после долгих войн и тяжёлых княжеских ссор столицей Руси Москва стала, сел на престол царь Иван, которого за жестокость народ Грозным прозвал. Но не о нём речь пойдёт, а о простом русском человеке — Егории-мастере.

В стороне от Москвы, на берегу речки Весёлки, деревенька стояла. Чистенькая такая, нарядная, Дворики называлась. Здесь и родился Егорка.

Странный был мальчонка. Бывало, играют деревенские ребята в чехарду или в догонялки, а он побегает, побегает и вдруг замрёт посреди улицы.

— Ты чего встал, Егорка?

— Гляньте,— говорит,— закат-то какой, будто небо горит. И лягушки как распелись...

— Тьфу ты, невидаль! Лягушек не слыхал! Ты, слышь-ка, или играй, или сейчас в пруд макнём.

А то ляжет в высокую траву и глядит на цветы неотрывно.

— Аль занемог, Егорка? — спрашивает его мать.— С самого утра лежишь, не шевелишься.

— Я, матушка, слушаю, как сок по травам бегает.

— Неужто слышно? — спросит мать ласково, посмотрит на него задумчиво и отойдёт тихонько.

А ещё любил Егорка рано утром, когда звёзды светлеют и слышно, как в саду яблоки в траву падают, птиц будить. Выйдет в огород и в свою дудочку тихонько так «фьють-фьють». А в ответ ему первая пичужка — «чиу». За ней другая, третья, и весь сад запел, ожил!

— Расчирикался, воробей,— кряхтит бабушка Акулина на лавке,— без тебя, что ли, птицы не проснутся?

Но больше всего любил Егорка русские праздники, когда песни задорные поют, весёлые хороводы водят, ряженые по ночам страх нагоняют. Каждый праздник — как сказка, с волшебствами, с тайнами. Тут уж никакой силой его домой не затащишь, прямо беда.

Вот хотя бы праздник Егорьев день, когда в первый раз после студёной зимы скотину на поле выгоняли. Был такой герой на Руси, Георгий-воин, Георгий-защитник, Егорий по-простецки. Крестьянам помогал, заступался, если надо, и скотину от беды охранял. В честь него и праздник назвали.

Вечером, накануне Егорьева дня, бабушка Акулина, как и все деревенские бабы, пекла «шишки», булки такие, и в каждую по шерстинке со скотинки вкладывала.

Утром рано Егорка с бабушкой корову и лошадку из хлева выгоняли не хворостиной кривой, а цветущей вербой. На землю перед хлевом отец замок железный клал. Через него скотина переступить должна и не зацепиться. Только тогда ворожба подействует, волку или медведю пасть крепко-накрепко запрёт.

Потом всей деревней в поле шли. Клали на четыре стороны тридцать земных поклонов и просили: «Храбрый ты наш Георгий, упаси ты скотину нашу от огня, от воды, от лютого зверя, от ползучего змея и от волшебных стихов. Чтобы лютый зверь не слышал бы своими чуткими ушами рёву коровьего, блею овечьего и боялся бы голосу человечьего, и чтобы нечистая сила отталкивалась». Покормят скотину «шишками» и запоют, Георгия поторапливают:

Георгий, вставай рано,
Отмыкай землю,
Выпускай росу
На тёплое лето,
На буйное жито,
Людям на здоровье!



А Георгий-то и сам в эту ночь не прилёг. Золотым ключом росу отпер и на землю выпустил, потом травы отпер и дал им расти. А как затрубит Георгий в свою золотую трубу, в ответ ему леса зеленеют.

Отец Егорки крестьянствовал, а для удовольствия своего звонарил. Знатный звонарь был! Такие

переливчатые звоны на пяти колоколах игрывал — заслушаешься. Звон тот в самое сердце радостью входил, и душа добрела. В Москву на главную звонницу его сманивали, большие деньги сулили — отказался. «Уменье моё,— говорит,— деревня родная породила, для неё и стараться буду».

Вечерами, когда вся семья после тяжёлой работы в горнице собиралась, наступало для Егорки самое счастливое время.

Тихонько потрескивала неяркая лучина, вился к потолку смоляной дымок. На стенах таинственные тени шевелились, у печи бабушка Акулина чугунами гремела, и постепенно изба доверху наполнялась таким вкусным запахом свежего хлеба и топлёного молока, что толстый кот Терентий, позабыв про мышей, с паутиной на усах врывался в горницу и начинал беспокойно мяукать басом.

Отец лапти на всю семью плёл, мать за прялкой сидела, а Егорка прижмётся к её тёплой спине, в тёмное окно глядит заворожённо и слушает, слушает мамкины истории сказочные:

— За семью глубокими морями, за семью высокими горами, там, где земля с небом встречается, лежит невиданная страна. Захочешь её на коне объехать — года не хватит. Люди там трёхногие великаны с четырьмя руками, глаза и рот у них на груди. Нет в той стране ни вора, ни разбойника, ни завистливого человека потому, что полно там всякого богатства.

Течёт под той землёй красная река. Раз в год земля над ней расступается, и кто увидит это, прыгает в реку, пока земля не сомкнулась, хватает в воде что попало и наверх тащит. Камень оказывается драгоценным камнем, а песок — крупным жемчугом.

Родятся в том царстве разные звери. Есть петухи, на которых люди ездят. Есть птица Феникс. В новолунье вьёт своё гнездо на 15 дубах, приносит с неба огонь, сама сжигает своё гнездо и сгорает вместе с ним. А из пепла рождается червь, покрывается перьями и становится опять Фениксом и живёт 500 лет...

Медленно тают перед глазами Егорки тёмные стены избы, и вот уж не у печи он греется, а на тёплом, розовом песке в той далёкой стране, а над ним неслышно качаются огромные, с колокол, красные и белые цветы, и в одном — птица Сирин драгоценными перьями сверкает и поёт что-то тихое, сладкое, а лицо у неё мамкино...

*

Но вот однажды, в конце лета, когда хлеба поспели, прибегает на рассвете из ночного Егорка, как снег белый, дрожит.

— Тятенька,— кричит,— проснись! Беда!

— Что, Егорка? Коня украли?

— Конница вражья на нас скачет! Близко совсем!

Услыхал звонарь такое дело, как был в исподней рубахе, так и побежал на звонницу — народ поднимать. Успел только крикнуть, чтоб Егорка с матерью да бабкой Акулиной в подпол спрятались.

Взлетел птицей на колокольню — ах, мать честная! Враг окаянный вот уж, рукой подать! Тучей чёрной несётся, земля от тяжести прогибается! Ахнул звонарь в самый большой тревожный колокол. Вставайте, люди добрые! Беда страшная, кровавая рядом!

Да поздно было.

Смерчем ворвалась конница в деревню. Кто схо-

рониться успел, тот уцелел. А так всех ироды порубили да конями своими косматыми потоптали.

Мать не выдержала, с Егоркой на околицу выбежала: как там её родимый на колокольне, жив ли? Тут на неё и налетел вражина оскаленный. Только и успела толкнуть Егорку в лопухи да перед ним встать, как рассек её зверюга саблей своей кривой. А когда дикая орда на храпящих конях со свистом и криками в степь умчалась, побежал Егорка, чуть живой от ужаса, по кровавой улице, вдоль жарко горящих изб к колокольне, а под ней тятька его на земле мёртвый лежит, а в горле по самые перья стрела калёная.

Так вот и стал Егорка сиротой...

Эх! Сколько на Руси сирот было, сколько добрых людей погублено! Как только земля наша кровью не захлебнулась, чёрным дымом не изошла?..

*

От всей деревни одни печи с трубами остались. Всё сгорело. Увязли эти печи по грудь в чёрном пепле, длинные трубы, как шеи, вытянули и воют по ночам на ветру так протяжно и жутко — кровь стынет.

Собрали оставшиеся мужики да деды уцелевшие брёвна, сложили кой-какие избы. Брёвна-то от пожара почернели, избы вроде чёрных грачей на земле сидят. И стала деревенька Чёрными Двориками называться, а речка Весёлка — Горюнкой.

Мутной водой потекли для Егорки безрадостные, сиротские дни. Сильно тосковал малец по своим родителям, как старичок стал. Молчит всё, думает или плачет ночью на печке. Бабушка его, Акулина, помирать было собралась, да повременить решила. Как же внучка одного в таком виде оставить можно?



Зима в том году лютая была, голодная. Кочевники-то весь хлеб на корню пожгли. Корой древесной да капустой кислой питались. Еле ноги таскали.

Одна радость у Егорки с бабушкой была — белая курочка каким-то чудом от набега уцелела. Худющая такая, но бойкая. Неслась даже иногда. Бабушка Акулина, хоть и голод, а яички те редкие к Пасхе, весеннему празднику, берегла.

— Давай-ка, внучек,— говорит она однажды,— яички красить. Подарим людям на праздник, всё им радость-то будет.

— А чем красить-то?

— Да чем всегда. Шелухи луковой или коры дубовой заварим, и будут у нас яички коричневенькие.

— Да что это за радость такая, бабушка, коричневые яйца дарить? Может, разноцветными их сделать?

— Это как же?

— А помнишь, тятьке моему церковный староста краски на сохранность оставил? Аль попробовать?

— А чего ж, попробуй.— А сама рада-радёхонька, что внучек очнулся от горя наконец.

Сбегал Егорка в подпол, где у них кой-какие пожитки от пожара сохранились, отыскал тот ящик деревянный. Краски все в порошках, в мешочки завязаны, на взгляд невидные. Как писать такими?

— Видала я, Егорка, как один иконописец порошки эти на желтке замешивал. Попробуй-ка, авось выйдет?

Так и сделал. Размешал порошки на желтке — вспыхнули краски ярко, засветились!

— Ой, бабушка, боязно начинать-то!

— Ничего, Егорка, не робей! Глаза страшатся, а руки делают!

Взял он белое тёплое яйцо и задумался. Чем же его украшать? Вспомнил, какие мать цветы красные на рубахе отца вышивала, и осторожно сам такой же цветок вывел, потом ещё один, а вокруг листочки маленькие, изумрудные. Заиграло яйцо, развеселилось. Как бабёнка в цветастом сарафане на ладони сидит.

За другое взялся. Теперь петухов красных с хвостами распушёнными нарисовал — как живые! На третьем — травы волшебные зацвели, запахли, потом кони тонконогие зарезвились, звери диковинные уши навострили.

— Ах ты, Господи, Егорушка! Откуда у тебя уменье-то взялось?

Знать, с отцовскими звонами малиновыми да сказками матушкиными красоту он в себя впитал, а теперь она пробудилась.

*

Как зима ни лютовала, а всё её весна одолела, слёзы лить заставила. Потекли эти слёзы ручьями, омыли сожжённую землю. Вздохнула земля, задышала тёплым паром. Весна пришла, а с ней и праздник весенний — Пасха.



Раньше-то бабушка Акулина пасхальные куличи пекла, хлеб такой сладкий с изюмом. Высокий, круглый, как гриб боровичок, а шляпка пудрой сахарной, будто снежком, присыпана. Если кулич в печи не растрескается — всё в семье хорошо будет, а, не дай Бог, не подойдёт или косенький какой выйдет — жди несчастья.

— Зачем ты, бабка, куличи так узоришь? — спрашивал, бывало, сосед, дед Афанасий. — Не всё ль равно животу, чего есть?

— Твому, может, и всё равно, а мой, сердешный,

всю жизнь в темноте сидит, ничего не знает. Пускай поглядит, какая красота на свете бывает.

Да... А на этот раз куличи не из чего было стряпать.

Утром бабушка повязалась праздничным платочком, в белый узелок крашенки уложила, Егорку гребнем деревянным расчесала, и пошли они соседей поздравлять.

Перво-наперво зашли к деду Афанасию. Он с внучкой Машенькой жил. Тоже сиротой осталась. Мамку её в то страшное утро конники окаянные арканами опутали и за собой в степь волоком утащили. Отец с вилами в погоню бросился, двоих заколол. Да разве в одиночку с такой сворой совладаешь? На копья его подняли...

Ну, поцеловались, по обычаю, с дедом и Машенькой три раза и яички расписные подносят. Дед аж руками всплеснул.

— Ай да Акулина, ай да мастерица!

— Да не я это. Егорка мой постарался.

— Да не может того быть, чтоб малец такую красоту навёл.

А Машенька — ей Егорка с петухами красными яичко поднёс — зарделась вся и за печку убежала стесняться.

Куда ни зайдут — смех, радость от их подарков. Хоть на день, а помог Егорка людям горе забыть.

*

Весна пришла, а Егорке с бабушкой легче не стало. Лошадь с коровой басурмане в степь за собой угнали — ни землю вспахать, ни молока попить.

Совсем отощал Егорка, на солнышке просвечивает, ну народ и решил его пастушком поставить, чтоб вовсе малец не пропал.

Собрали скотину со всей деревни: лошадь с жеребёнком, две козы да корова. Вот и всё стадо.

Рано утром, когда ещё земля в пуховый туман куталась, собирал Егорка по дворам своё стадо и на луга гнал. Кнут как положено сплёл, а вместо собаки кот Терентий сзади бежал. Выучился где-то хвост калачиком загибать – ну вылитая Жучка, только не гавкает! Долго он после пожара пропадал, потом явился худющий, как скелет, шерсть в подпалинах, а усов и вовсе нет – сгорели.

Вот раз пришли они всей компанией на берег речки Горюнки. Корова с козами траву молодую принялись щипать, а лошадь с жеребёночком в воду по грудь зашли, пьют. Жеребёнок к матери жмётся, как дитя малое, а та его мокрой мордой по спине поглаживает, чтоб не робел.

Туман над рекой белый-белый, то совсем их заволочёт, то хвост один оставит, а то и вовсе вдруг одна лошадь с двумя головами стоит – большой и маленькой.

Глядел на них Егорка, глядел и не заметил, как задремал. И видит он: выплывает тихо из тумана узкая ладья. Борта резные, нос двумя головами лошадиными украшен, а посерёдке женщина в длинном белом сарафане стоит и улыбается печально так.

Смотрит Егорка пристально, никак не поймёт – кто это? Туман мешает.

А ладья уже мимо неслышно, как перо по небу, проплывает. И вдруг женщина эта глянула на него и тихонько спрашивает:

«Помнишь ли меня, сынок?»

Вскрикнул Егорка, вскочил на ноги, а ладья метнулась от него испуганно, и не ладья это уже, а серая утка громко крыльями захлопала и пропала в тумане!





Очнулся Егорка, лицо от слёз мокрое. «Матушка,— шепчет,— ведь это ты была?»

На память о том сне несколько дней подряд, не разгибаясь, вырезал Егорка из неподатливого берёзового поленца волшебную ладью с двумя лошадиными головками впереди. Когда середину выдолбил, нарвал хвоща и жёсткими его стеблями зачистил всё до блеска. А вечером рассказал бабушке Акулине про свой сон и ладью на стол поставил. Бабушка бережно взяла её в руки, погладила и говорит:

— А ведь у тебя, Егорка, знатный ковшик получился. Как попьёшь из него, так и мамку помянешь.

Долго в ту ночь Егорка на лавке ворочался. «Хорошо бы,— думает,— таких ковшиков всем вырезать, у кого родных порубили».

Так и сделал. Всё лето строгал, резал, зачищал.

Вот собралась деревня на братчину, родных поминать. Пиво всем миром, по обычаю, сварили, тут Егорка и поднёс всем по ковшику. Мужики одобрительно кряхтят, на чистую работу дивятся, а бабы прижали подарки к груди, ревут, смущённого «мастера» в русую макушку целуют.

*

Веселее жизнь пошла у Егорки, дело нужное и полезное появилось. Выучился ложки резать. Маленькие с витым стеблем и росписями весёлыми — для ребятишек, большие с медведем резным — для мужиков, самые большие половники с яркими узорами — для хозяек, а на всю семью — солоницу с богатой резьбой и откидной крышкой. Соль на Руси уважали, на самое почётное место солоницу ставили.



Из других деревень про Егорку прослышали, приходить стали за его ложками, ковшами и солони-

цами. Никакой платы он не брал, так отдавал. Но однажды осерчал на него дед из соседней деревни.

— Что ж ты,— говорит,— от моего мёду отказываешься? Ты ведь не для себя ложки-то режешь? Так и я не для себя ульи держу. Ты погляди на пчёл: одна цветок разведывает, другая мёд с него по капельке тащит, третья соты лепит, четвёртая улей прибирает. Все друг для друга стараются. И человек так же должен.

С каждым годом всё больше и больше народу к Егорке приходить стало. Теперь уж не просто берут то, что он сделает, а своё заказывают. Кому блюдо праздничное для пирогов вырежи, кому ковш трёхведёрный корневой, из корня, значит, а кому сундучок для приданого.

Иной раз столько заказчиков набьётся, что, того и гляди, избушку развалят.

— Может, нам новую избу срубить, а, бабушка? — спрашивает как-то Егорка.

— А чего ж, сруби. Отец твой тоже сам рубил.

Стал Егорка крепкие сосновые брёвна припасать, чтоб изба тёплая была. Не для лета ведь изба рубится — для зимы.

Место на пригорке облюбовал, хотел уж было за работу приниматься, да бабушка велела погодить чуток.

— Выкопай-ка,— говорит,— четыре ямки, где у тебя углы будут. Узнать надо, не занято ли это место чёртом?

Удивился Егорка, но ямки выкопал. Бабушка Акулина в каждую ямку по деревянному стаканчику воды поставила и краюшкой хлеба накрыла. Наутро посмотрели — ничего не опрокинуто. Значит, свободное место, можно строить.

Одному вовек бы Егорке избу не поставить, полдеревни помогать пришло. Топоры застучали, поле-

тели весёлые стружки, смолой запахло. На глазах изба поднимается. А дед Афанасий на завалинке сидит, бабушку Акулину подзуживает:

— Избу крой, песни пой, а шесть досок на гроб припасай.

— Ну и припасай, коли помирать собрался. Это дело попроще, чем избу-то ставить. Лёг, зевнул и ножки протянул.

К вечеру последний, пятнадцатый венец избы вывели и стропила поставили. В языческую старину у входа дома зарывали конский череп. Он оберегал от злых духов и был выкупом за срубленные для строительства деревья. Теперь же черепа не зарывали, но, по обычаю, Егорий на другой день вырезал из дерева голову коня и на конце верхней балки крыши укрепил. Оттого она до сих пор коньком называется.

Потом бабушка кота в избу пустила. Он проверить должен, не влезла ли туда нечистая сила. У кошек нюх на неё, если учует, начнёт лапой в воздухе ловить. Ну, Терентий вошёл степенно, похозяйски всё проверил, все углы обнюхал, ничего не обнаружил и повалился на пол по стружкам кататься. Значит, можно новоселье справлять.

Целый год Егорий избу свою украшал, каждую доску любовно отделывал, оттого не изба деревенская, а теремок сказочный получился. Столбы на крыльце витые, на лобовой доске над окном две берегини — русалки хвостатые счастье в доме берегут, а под коньком два льва улыбаются. Издалека видно, что гостям здесь рады будут.



А гости уж на пороге. Приходят, дивятся, и вот уж у одного новая изба закладывается, у другого. Кто без затей строил, а кто под Егория узорил. Из Чёрных Двориков опять деревня просто Двориками стала.



Раньше всех деревенский петух просыпается. Работа такая — день начинать. Три раза надо кукарекнуть. В первый раз горло прочистить, во второй — народ разбудить, в третий — с лавок согнать.

Егорий с первого кукарека уж на ногах и бегом на луг росой умываться.

Только что это солнышко какое-то чудное сегодня? Переливается всеми цветами, искрится, погрузится в речку, искупается и снова появляется! Так и скачет туда-сюда.

— Да ведь Иван Купала нынче! — вспомнил Егорий и давай по мокрому лугу жеребёнком носиться. Больно праздник хороший пришёл.

На Ивана Купалу самый длинный день с самой короткой ночью встречается, травы и растения тяжелеют, соком наливаются, начинают плоды созревать и наступает важное крестьянское дело — жатва.

К жатве особо готовились. В ночь на Ивана Купалу через большой костёр купальский перепрыгивали, чтоб огнём очиститься, порчу и заговоры оттолкнуть, а главное — здоровья и задору перед жатвой набраться.

С утра девушки над купальским деревом хлопочут. Молодую берёзку срубленную нарядными лентами, цветами и травами украшают. А парни костёр на бережку складывают и всё берёзку ту, купальскую, отнять и поломать, по обычаю, пытаются. А девушки хохочут, убегают и обидные песни поют:

Ой, на Купалу огонь горит,
А у наших парней живот болит!

Пускай болит, пускай знает,
Пускай Купалу не ломает!

Вечером собралась вся деревня – и стар и млад. Нарядились в самое лучшее, яркое. Шум, песни, хохот повсюду. Старики со старушками тоже веселятся, от молодых не отстают. Дед Афанасий и дед Михей у костра мудруют, древним способом огонь добывают. Кряхтят, крутят палочку меж ладоней, а палочка на деревяшку сухую поставлена. От усердного трения деревяшка задымила, затлела, а когда мха сухого подсыпали, огонёк молоденький народился. Только таким огнём и можно купальский костёр запаливать.

Взвился огонь, лизнул небо, да как стрельнёт искрами во все стороны! Страх! Не отскочишь – спалит.

Гудит костёр, жаром пышет, и жутко и весело всем. Ну, теперь, взявшись за руки, через костёр прыгать надо, да не с кем попало, а с тем, кто тебе люб. Если руки у молодых не разойдутся да вслед искры полетят, то поженятся они обязательно.

Всё от костра ярким светом залито, а в нём ленты и сарафаны жёлтые, красные, васильковые переливаются, как в сказке волшебной. Венки на головах девичьих словно короны царские, а глаза горят, глянешь – обожгут!

Красивые все, а ни одна Егорию не мила.

Подходит к нему Марьюшка. Сарафан на ней красный, а щёки от смущения пуще сарафана пылают.

– Пойдём, Егорий, прыгнем, а? Ты не подумай чего. Мне одной боязно.

Усмехнулся Егорий, однако за руку её взял, разбежались и птицами через костёр жаркий перелетели. А руки-то и не разошлись и искры им вдогонку пчёлами огненными метнулись! Ну, народ это приметил и давай кричать:

– Жених да невеста!

Марьюшка совсем засмущалась, руку вырвала и убежала под хохот.

Как огонь помаленьку стихать стал и звёзды на тёмном небе ярче загорелись, понесли девушки купальское дерево в речку бросать, чтобы влагой его напоить и дождь на землю вызвать. Плывёт Купала по тёмной воде, а за ним венки девичьи в лунном свете покачиваются. Куда венок приплывёт, там и суженый ждёт, а утонет венок — быть беде. Слава Богу, ни один не утонул, все уплыли.

Замужние бабы венков уже не кидали, а пошли с мужьями да родителями в бане париться. Для бани специальный веник у каждого был припасён, пахучими травами и цветами яркими связанный.

А молодёжь только того и ждала, когда старшие уйдут. Поскидали одежду и с хохотом в речку — бултых! Плещутся, озоруют, визжат, вылезать не торопятся. Вода-то в эту ночь особая, живительная, в ней солнышко купалось.

Девушки в воде ещё краше стали, кувшинками расцвели.

А где же Марьюшка?

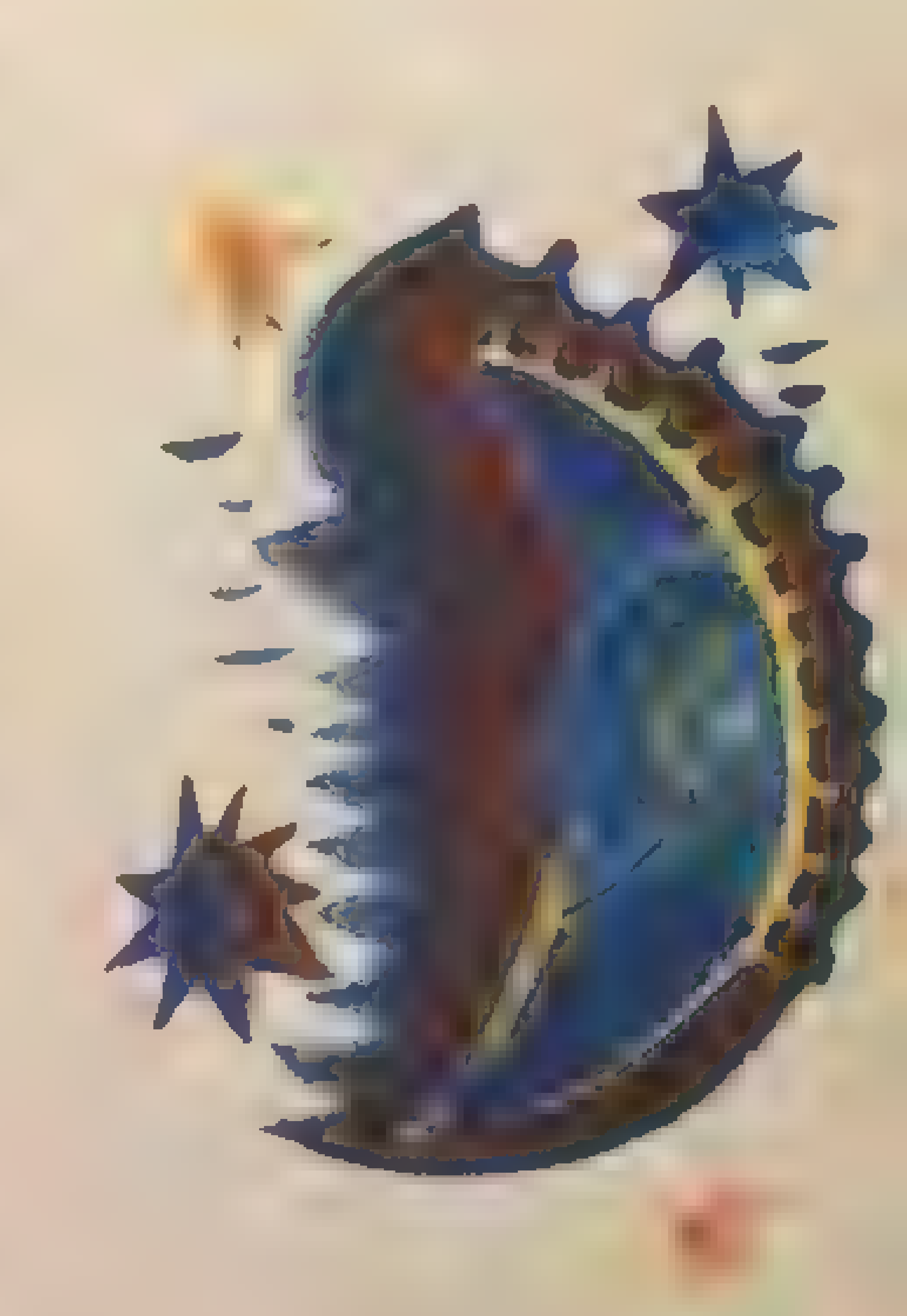
Все из воды вышли, а её нет. Тревога Егория взяла. Не утонула ли? Поспрашивал, говорят, видели, в лес пошла.

Бросился Егорий за ней. Мало ли чего в лесу в такую темень случиться может! Бежит, по сторонам поглядывает. Нет Марьюшки! Тишина вокруг зловещая, словно затаился лес.

Вдруг чёрный сыч над головой как ухнет, как захохочет — и лес ожил. Ветра нет, а листья зашевелились, ветки заскрипели, деревья закачались, с места сдвинулись и на Егория пошли! Холодом Егория охватило, страх все позвоночки пересчитал.

Вспомнил, сказывала бабушка, что в ночь на Купалу чудеса всякие случаются. Не верил, а

гляди — так оно и есть! Чудится, будто лапы мохнатые из-за деревьев к нему потянулись, длинные, когтями вот-вот за горло схватят. Бормотание какое-то, говор слышен, огоньки бледные в темноте звериными глазами мерцают.



Споткнулся Егорка о скользкий корень, а может, тот корень сам его за ногу зацепил, и со всей моченьки в кусты затрещал. И тут впереди кто-то как вскрикнет, и всё смолкло разом. Вроде Марьюшкин голос.

Куда страх у Егория делся!

Бросился, не разбирая дороги, к тому месту. Сердце колотится, сучья по глазам хлещут, лицо в кровь царапают — успеть бы!

На лунную поляну выскочил, а там Марьюшка бездыханная лежит, папоротник в руке держит. Подкосились у Егория ноги, на колени упал, голову ей на грудь уронил. Только слышит, бьётся сердце-то, жива Марьюшка!

Волосы с лица её отвёл и ахнул. Вроде бы встречал каждый день и не замечал в ней ничего такого. А тут будто впервые увидел, до чего хороша! То ли ночь волшебная Марьюшку краше сделала, то ли Егорию глаза новые подарила.

Не удержался Егорий — да разве тут удержишься? — да и поцеловал её в горячие губы. Дрогнули у Марьюшки ресницы, открыла глаза широко.

— Ох, Егорка! Напугал как! Ты зачем здесь?

— А ты?

— Цветок волшебный искала. Нарассказывал мне дед, что, мол, расцветает в купальскую ночь цветок папоротника, один во всём лесу. Кто его сыщет, тому он место укажет, где сокровища несметные сокрыты. Их бесы на просушку из-под земли поднимают, а сами вокруг стоят, караулят. Ты, мол, под-

ходи, не бойся. Кинь в них цветок-то, они и замрут, как истуканы. Тогда клади золото в подол, сколько дотащишь, да только слушай, как затрещит в лесу, захрапит – это, значит, огненный конь по лесу мчит, тебя топтать хочет. Бросайся тогда наземь и не шевелись. Как бы близко он от тебя на дыбки ни встал, как бы огнём ни палил, не открывай глаз. Он устанет и уйдёт, а золото твоё будет.

– Зачем тебе столько золота?

– Да не за золотом я шла, а на чудо посмотреть. Неужто бывает такое? Ну, иду, значит, ни жива ни мертва, жутко одной-то, но цветок ищу. Вдруг сзади кто-то как ухнет и давай ко мне по кустам продираться! Ну, думаю, ещё и цветка не нашла, а уж конь огненный на меня несётся! Вот и повалилась на землю от страха... Чего смеёшься-то?

А Егорий хохочет, по траве катается:

– Ой, не могу! Да ведь это я к тебе через кусты продирался! Ой, умру, ой, не выживу!

Насилу успокоился, сел, слёзы утёр:

– Так и не нашла, значит, цветка-то?

– Нет...

– А я нашёл.

– Да ну?! Покажи!

– А закрой глаза.



Закрыла она глаза, а Егорий поднял с земли Марьюшкино зеркальце, к лицу её поднёс.

– Гляди! Вот он, мой цветок!

Ахнула Марьюшка, спрятала лицо в ладонях и заплакала. Ну, что ты будешь с ней делать?!

Словно волна горячая всю душу Егория окатила. Обнял он её ласково.

– Что ж плачешь? Или не люб я тебе?

– Да люб, давно люб! От радости плачу. Ведь ты с утра до ночи только на краски свои любуешься, а меня и не замечаешь вовсе!



— Нет, Марьюшка. Меня краски эти красоту понимать научили, тебя разглядеть помогли. Пойдёшь ли за меня?

— Позови только, всё брошу, уйду с тобой. Да боюсь, дед заупрямится. Он всё богатых женихов высматривает.

— А мы к нему бабушку Акулину свахой пошлём. Она с ним быстро совладает.

На рассвете в деревню пришли. Всё шептались про счастье своё будущее. Целовались, конечно, не без этого.

Петухи запели, когда Егорий в избу мышкой шмыгнул. А бабушка уж с веником поджидает.

— И где ж ты, окаянный, цельную ночь прошастал?! Я не погляжу, что здоровый, выдеру вот веником.

Обнял Егорий с улыбкой свою старенькую бабушку, как медведь её, сухонькую, облапил, она и притихла.

— Ну, сказывай, где был-то?

— За цветком волшебным бегал.

— Нашёл?

— Нашёл, бабуля!

— Да где же он?

— А по соседству, у деда Афанасия покуда оставил. Пойдёшь Марьюшку за меня сватать?

Охнула бабушка, на лавку села.

— Слава тебе, Господи! Собрался наконец. Я уж думала, ты блаженный какой, на девушек не глядишь, всё работаешь. Ну что ж, Марьюшка невеста хорошая, тебе под стать. И красавица и рукодельница. Сейчас и пойдём свататься.

— Может, к вечеру сходим? Вдруг дед откажет — стыду не оберёшься.

— Отказ не обух, шишек на лбу не ставит.

Но всё ж порешили вечером идти, на всякий слу-

чай. Нарядились в праздничное. Егорий, как рубаха его холщовая, белый весь, волнуется!

Когда к Афанасию пришли, Егорий совсем оробел. Стоит в горнице перед иконой в красном углу, крестится, а у самого руки дрожат.

Марьюшка из избы сразу вон выбежала, в сеннике спряталась. Дед, конечно, мигом смекнул, что к чему, но вида не подаёт.

Сели на лавку чинно, разговор завели издалека.

— Растёт у тебя, Афанасий, цветочек аленький, а у нас садовник славный сыскался.

— Это вы про кого, про Марьюшку, что ли? Э, нет, гости дорогие! Поищите для своего садовника другой садочек.

— Что так? Аль жених плохой?

— Да нет, соседушка, невеста у нас никудышная! Такая красавица, как в окно глянет — конь на дыбки встанет. Во двор выйдет — три дня собаки лают! У неё, видишь ли, по секрету скажу, глаза как лукошки, на голове рожки, рот до ушей, хоть завязки пришей! Но зато на обе ножки прихрамывает, горбом туды-сюды покачивает.

— Ой, уморил, дед! — хохочет бабушка.— Да ведь это ты себя обрисовал! А Марьюшка у тебя — загляденье! Да и жених наш хоть куда! Руки золотые, а самому молодцу цены нет.



— Да, богатство у вас, конечно, большое. Два веника в коробке да мышка в мешке.

— Это правда. Денег ни гроша, зато слава хороша. Сам ведь знаешь, какой у нас Егорий мастер. Были б руки, а богатство придёт! Внучке твоей у нас хорошо будет.

— Ага. Видела баба кисель во сне, да ложки не было.

Тут уж Акулина осерчала.

— Ты чегой-то, старый хрен, как ёрш топор-

щишься?! У самого-то в сундуке от рыбы пух да крылья от мух! Гляди, к другим пойдём!

— Вот-вот. Стали щуке грозить, хотят её в реке топить.

— Глянь-ка, Егорий, на щуку эту беззубую! Ужас охватывает, прости, Господи! Только вот я тебе что, Афанасий, скажу. Хоть и хочешь ты себе щукой казаться, а сердце у тебя завсегда мягче воска было. Все бабы в деревне про это знают.

Ну, дед тут и растаял, как лёд на солнышке.

— Ох и хитра ты, бабка! Мужик клином, баба блином, а доймёт! Ну, чего тут калякать, пора свадьбу стряпать.

Марьюшку кликнули. Стала потупившись, передник теребит.

— Пойдёшь ли за Егория, внучка?

— Отпустишь, дедушка,— пойду.

— Ну и славно! Только свадьбу на Масленицу справим. А то знаешь, как бывает, кумишься, сватаешься, а проспишься — спохватишься. А ты, Егорий, пока невесте подарок готовь. Погляжу я, как ты для неё постараешься.

Стал Егорий раздумывать, что бы такое невесте подарить? Чтоб красивое было, нужное и при ней завсегда находилось, о нём напоминало.

Ничего в голову не идёт!

Раз как-то пошёл он в одну избу, где девушки посиделки устраивали. Сидят девушки по лавкам, пряжу прядут, песни поют, хохочут. И Марьюшка здесь же.

Сел Егорка в сторонке, глаз отвести от неё не может, работой её любуется. Так ладно да споро прядёт, никто угнаться не может, хоть и прялка у неё похуже всех была. Скрипучая, шатучая, на сторону валится, того и гляди, рассыплется. Одно

 слово — прабабушкино наследство.

«Вот какой подарок-то надо изготовить,— встрепенулся Егорий,— и вещь полезная, и при Марьюшке всегда будет».

На другой день пошёл в лес липу для прялки рубить. Липа дерево мягкое, нежное, что хочешь из неё вырезать можно, не треснет, да и цветом хороша, золотистая.

Вот идёт он бережком, а по речке белая лебедь плывёт величаво. Шея гибкая, гордая, головка словно точёная, красавица!

«Вот как сделать-то надо! — любуется Егорий.— Чтоб не просто прялка была, а лебёдушка».

Срубил он в лесу подходящую липу, а чтоб она не растрескалась, кору не стал обдирать и торцы глиной обмазал.

Как только просохла липа хорошенько, принялся рубить донце — широкую доску, на которую пряха садится. На конце донца выступ сделал с гнездом. В него то гребень, то стояк для пряжи вставлять можно, а стояк, на маленькое весло похожий, из крепкого клёна вырубил. Обстругал всё хорошенько, зачистил, дерево зазолотилось, засияло. Не прялка — птица лёгкая, ни у кого такой нет! Красивая, а чего-то не хватает!

«А что, если резьбой да красками её изузорить?» — думает Егорий. Вырезал на донце тонкие линии, на концах завиточками закруглил. Потом солнышки под ножом зажглись, листья сказочные зашелестели, диковинные цветы зацвели.

А Егорий хмурится, опять ему не нравится!

Во двор вышел, там у него чурбан дуба морёного лежал. Расколол его на тонкие дощечки, из них два коника чёрных с крутыми шеями выстругал и в донце между цветов врезал. Сели без клея, как тут были, не выковырнешь. Но всё ж для верности дырочки просверлил и жёлтые липовые гвоздики

загнал, да не где попало, а где глаза и по сбруе. Сразу ожили коники, сбруей зазвенели, глазами закосили.

Вроде довольный остался. За стояк принялся. «Что бы такое,— думает,— написать?» Вспомнилась ему та ночь лунная на Ивана Купалу, цветок папоротниковый. Только какой он, цветок этот таинственный? Красный, синий или белый? А такой, наверно, каких на свете не бывает — чёрный! Ведь колдовство любит в чёрное рядиться.

Обмакнул кисть в чёрную сажу и написал чудо-цветок ночной, а вокруг узкие листья папоротниковые закачались. Мерцают чёрные лепестки на золотой доске, манят к себе, завораживают, и веришь — есть такой цветок на земле, ищи только.

Сверху солнышко красное написал, его с двух сторон птица Сирин и Алконост берегут, погаснуть не дают. Чтоб семья крепкая была, под солнышком дерево сказочное посадил, всё в цветах. А чтоб дерево не погубил кто, под ним двух львов гривастых на стражу поставил.

Бабушка Акулина как увидела прялку, заахала, головой закачала.

— Ну, Егорий, такого подарка отродясь ни у одной невесты не было! Отдавать даже боязно, того и гляди, влюбится Марьюшка в прялку-то, тебя забудет!



Как краски просохли, понёс Егорий прялку на посиделки. Поставил на лавку — словно солнце в избе вспыхнуло! Девушки работу побросали, прялку обступили.

— Ну, погоди! Мы тоже своим женихам прикажем такие сделать. А не сделают — не бывать свадьбе!

Запечалились женихи, заскребли затылки, где уж им за Егорием угнаться! Собирались даже побить



его маленько, да больно здоров, сам кого хочешь уложит.

Пришлось им тоже прялки узорные резать да красить, кто как умел. Так и повелось: просватался парень к девушке — дари прялку. По ней ведь сразу видно, сильно ли жених невесту любит или со скуки женится.

Ждёт не дождётся Егорий, когда Марьюшка в его дом хозяйкой войдёт.

— Да что ж ты, Егорка, без дела маешься? — не выдержала однажды бабушка Акулина.— Чем деньки до свадьбы считать, лучше б Марьюшке для хозяйства что-нибудь сделал.

— А что?

— Помнишь ли, до пожара у меня коробья была расписная? Дед твой из самого Великого Устюга её мне привёз, приданое складывать. Эх и красивая была, всем на зависть! Зверями волшебными расписана и цветами.

— А какими зверями, бабушка?

— Помню, львы там гривастые были, птица Сирин и грифон.

— Грифон? А кто это, бабушка?

— Неужто не знаешь? Зверь такой хищный. Телом — лев, и грива его же, и лапы когтистые, на спине здоровенные крылья, а голова птичья с острым клювом. Хвост закрученный, а в силе и храбрости равных ему нет. Живёт он далеко отсюда. Всё золото в его власти, а если какой тать[1] завладеть им захочет, разрывает на части. Потому он на крышке коробьи нарисован был, чтоб воры боялись.



[1] Тать — вор.

— Ну, бабушка! Что ж ты раньше про такого зверя не сказывала? Я тоже его Марьюшке на коробье напишу.

— Да какое ж золото он у неё беречь будет? — смеётся бабушка.

— Ну, не золото, а от сглаза или нечистой силы пускай бережёт.

— А для этого другой зверь есть. Индрик[1] зовётся. Конь такой, а во лбу волшебный рог. Этим рогом всякое зло насквозь протыкает, и, когда с ним бьётся, вокруг народ стоит и поёт:

Это не два зверя собирались,
Не два лютых собегались,
Это кривда с правдой сходились,
Промеж собой бились, дрались!

Загорелся Егорий новой работой. Срубил липу и срезал с неё тонкий луб — самый верхний слой. Потом согнул его по форме большой коробьи, края стеночек друг на друга наложил и лыком прошил. Пока луб сырым ещё был, вставил в него еловое дно, чтоб, когда высохнет, стенки коробьи днище крепко сжали.

Из оставшегося луба ещё две коробьи согнул. Одну — для посуды, а совсем маленькую коробейку — для Марьяшиных серёжек да бус. Железными петельками с узорными высечками ко всем коробьям тонкие крышки еловые прикрепил.

Через несколько дней луб подсох и стали коробьи белыми, гладкими. Рука сама, головы не спрашивая, к краскам тянется. Маленькую коробейку Егорий тонкими чёрными травками и большими красными цветами расписал. Дорогой шка-

[1] Индрик — единорог.

тулкой стала простая коробья, не стыдно в такой украшения хранить.

Среднюю коробью, ту, что для посуды, весёлыми картинками из будущей жизни расписал. На одной стенке мчится белый конь в чёрных яблоках, запряжённый в расписные сани, а в санях он сам с Марьюшкой сидит, коня погоняет. Взмахнул плетью и замер так с поднятой рукой, потому что над конём в это время Сирин бесшумно пролетал, весь в разноцветных перьях. А вокруг по небу большие яркие цветы летят, и даже из-под снега красные и зелёные листья выше коня выросли.

На другом боку коробьи Егорий с Марьюшкой уже домой приехали и сидят за столом, кисель пьют. На полу Терентий о Марьяшину ногу трётся, а около Егория чёрная Жучка сидит. А в избе цветы отовсюду, даже из стен и стола растут, будто в сказочном саду. На крышке же коробьи сильного, могучего льва с развевающейся гривой написал. На врагов страх он наводит, а для друзей улыбается и хвостом помахивает, на конце которого цветок распустился.



По бокам самой большой коробьи для приданого зажили все заморские звери, каких Егорий знал. Тут и пёстрая, с загнутым клювом, большая птица папагал[1], индрик с острым рогом во лбу со львом бьётся, царь неба — гордый, сильный орёл и владычица океана — птица-стратим. Живёт она в море-океане и, как увидит корабли, встрепенётся, океан-море всколыхнётся, и все корабли вместе с людьми и товарами тонут в пучине.

А на крышке скачет среди сказочных трав и цветов храбрый богатырь Полкан[2] с луком. Ноги, хвост

---

[1] П а п а г а́ л — попугай.

[2] П о л к а́ н — полконя, или кентавр.

и тело у него конские, а грудь, голова и руки — человечьи. Сильный зверь, кого хочешь догонит, а не догонит — стрелой достанет.

А на случай, если всё же какой разбойник захочет коробью вскрыть, с внутренней стороны крышки на него хищный крылатый грифон со стальным клювом вылетит, и тут уж бросай коробью и беги не останавливаясь, иначе разорвёт острыми когтями.

За делами время незаметно пролетело. Успел Егорий и деду Афанасию подарок сделать — дубовый подголовок. У этого небольшого сундучка, окованного высечным железом, крышка была скошена, чтоб на неё голову ночью, как на подушку, можно было класть. Расписывать подголовок зверями-стражниками Егорий не стал, голова деда Афанасия лучше всяких грифонов его «сокровища» сохранит.

А Марьюшка в это время с подружками приданое дошивала. Холсты белые, чтоб мужу и детям рубахи шить, она уже давно наткала, полотенца вышитые для украшения избы и на каждый день тоже стопочкой лежали. Несколько больших скатертей цветами и петухами вышила. Их на свадебный стол друг на дружку постелят и после каждой перемены блюд по одной снимать будут, так что гости невестино умение оценить смогут.

Осталось ей несколько последних стежков на свадебной рубахе Егория вышить. А рубаха получилась царская. Такой яркий узор на вороте, груди и на подоле зацвёл, что любой жених, самый никудышный, в такой рубахе князем будет, а уж о Егории и говорить нечего.



Бабушка Акулина с соседками о свадебном угощении хлопочут, ведь не меньше девяти блюд должно на столе стоять. И деда Афанасия заботы не минули. Поручено ему было уговорить своего бедо-

вого приятеля, деда Михея, стать дружкой[1] на свадьбе. Поговаривали, что этот дед кудесник, умеет порчу отводить. Именно такой человек и нужен был для свадьбы, для её оберега от нечистой силы.

И вот, наконец, в конце лютого февраля, в субботу, за день до свадьбы, собрались у Марьюшки любимые подружки смыть с неё в жаркой бане «девью красу» и повыть, попеть жалостливые песни. Тут и Егорий с весёлыми дружками подоспел. Поднёс с поклоном невесте свои расписные подарки, а девушкам — орешков и сладостей.

Как увидели подружки дивные коробьи, про сладости забыли и ну ахать, ну Егория нахваливать! Марьюшка стоит гордая за него, счастливая. Тут и её черёд рубаху поднести. Теперь уж парни друг дружку отталкивают, глаза на такую красоту таращат, а Егорий даже покраснел от удовольствия.

Хлопнула дверь в сенях, дед Афанасий с мороза в избу ввалился.

— Ну, девоньки-подруженьки, ведите невестушку под белы руки в баньку-парёнку, натопил я её докрасна!

Запричитали подружки, окружили Марьюшку и повели её, а она, по обычаю, горестную песню затянула:

Повели-то в баньку-мыленку,
Да по трём дороженькам.

А парни со смехом весёлой гурьбой в свою баню по глубокому снегу потопали. Их тоже мытьё ждало, только не грустное, а с хохотом.

---

[1] Дру́жка — человек, хорошо знающий, как справлять свадьбу.

После бани усадили невесту на лавку, стали волосы расчёсывать.

— Ты чего ж не ревёшь-то? — шепчет ей Дуняша, лучшая подружка.

— Не хочется, Дуняша, силюсь, а не идут слёзы.

— Не-ет, так нельзя. На девишнике реветь положено. Я тебе сейчас луком глаза натру.

Сказано — сделано. Сидит невеста, плачет-заливается луковыми слезами. Да разве это слёзы? Вот мать плачет — что река течёт, жена плачет — что ручей журчит, а невеста плачет — как роса падёт. Взойдёт солнышко — высушит.

Зато наутро на отцовой могиле наплакалась, прощаясь, по-настоящему...

Как стали к венцу собираться, девушки опять жалобные песни запели. Надели на Марьюшку длинную, белую, венчальную рубаху, вышитую на груди и рукавах, а сверху широкий красный сарафан весь в ярких цветах. Под сарафан, в тайный кармашек, кусочек пирога и кудели незаметно положили для счастливой, богатой жизни.

Грянули звонко на улице весёлые бубны, кони захрапели.

Это свадебный поезд из пяти расписных саней во двор въезжал. Медная сбруя на конях огнём горит, а на дугах разноцветные ленты развеваются.

Вывалились из саней весёлые поезжане, в избу пошли. Впереди тысяцкий — дед Михей важно шествует, вышитым полотенцем подпоясан, за ним жених с гостями. Поклонились невесте в пояс, Егорий деду Афанасию свой подголовок поднёс, а он ему икону Божьей Матери. За столом немного посидели, поговорили, встаёт бабушка Акулина и говорит:

— Дозвольте, гости дорогие, невесте голову чесать!

Занавесили девушки невесту от жениха, с песнями да причитаниями расплели ей длинную девичью косу, а заплели уже две и укрутили навек в бабий убор. Потом велел тысяцкий большие витые свечи зажечь и в сани садиться, а Егорий с друзьями верхом должен в церковь ехать.

Когда все с шумом, хохотом наконец расселись и успокоились, обошёл Михей торжественно три раза весь поезд и волшебным оберегом свадьбу заворожил:

— Гой еси, Георгий Храбрый! Сядь на своего белого коня, возьми копьё долгомерное, объедь меня вокруг со всей свадьбою! Сострой ограду белокаменную от земли до неба! Огороди нас от красного, от проклятого, от трезубого, от одноглазого! Чтоб руки они на нас не подымали, рта не разевали, свадьбу мою не оговорили, не испортили!

И полетел бесстрашно весёлый поезд, охраняемый Храбрым Георгием, в маленькую деревянную церковку, а из расписных коробьёв концы вышитых скатертей на ветру полощутся, чтоб все видели, какое у невесты приданое!

После венчания поезд к Егорию помчался, там свадьбу играть будут. Теперь уж весёлые песни грянули! Хватит грустить, пора мёд с пивом пить!

Егорий с Марьюшкой сидят за шумным столом, потупившись застенчиво, не пьют и не едят ничего, по обычаю. После третьего блюда приказал дру́жка молодых в холодный сенник спать вести. Свадьба же до поздней ночи гуляла, а витые свечи до утра горели.

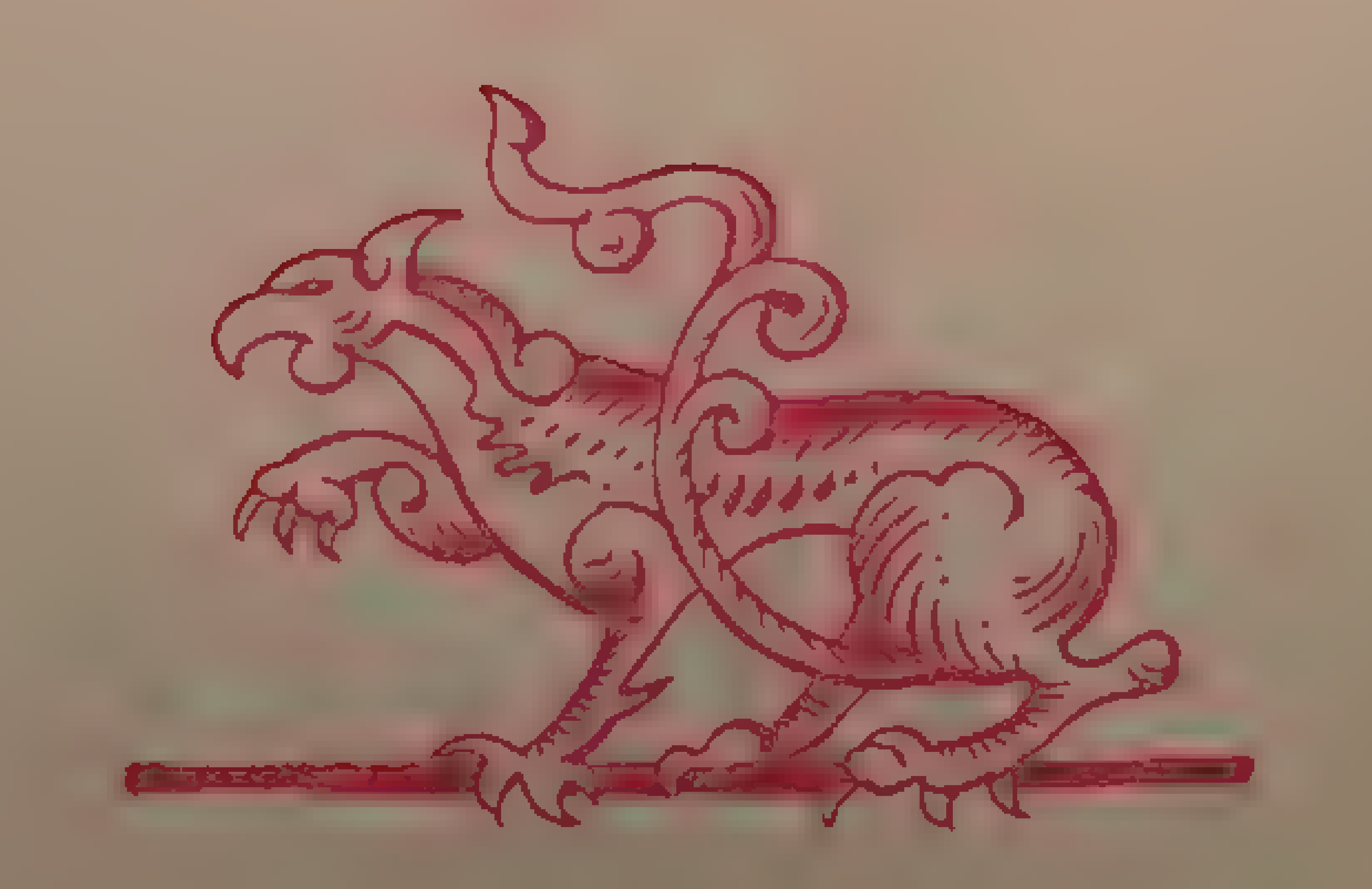
А утром озорными песнями молодых разбудили.



И дед Афанасий с бабушкой Акулиной перед ними потешно пляшут, горшки об пол вдребезги бьют и покрикивают:

— Сколько кусочков, столько сыночков! Ух ты! Ух ты!

Полетели годочки быстрыми птицами один за другим. Вот уж две дочки у них народилось, и всё, что у людей было, Егория с Марьюшкой не минуло.





ГЛАВА ВТОРАЯ

Лето красное огнём горит. Ячмень уж колючие усы выпустил, а рожь тяжёлым зерном колосья нагрузила. Золотое море на полях волнами перекатывается, а из глубины весёлые васильки синими глазами мигают. Дух над полями стоит свежий, хлебный. Красота такая, что жать жаль. А пора уже, иначе дождь или град весь урожай побьёт.

Вышли бабы ранёхонько в белых платочках, с серпами, жать принялись. Первые снопы шалашиками встали, а ребятишки следом идут, колоски с земли все до последнего подбирают.

Жара адская, пот глаза заливает, спина деревянной стала, а отдохнуть некогда — до вечера всё убрать надо. Кто своё сжал, соседям помогает, и вот уже всё поле под вечер снопами уставлено.

Разогнулись бабы, вытерли серпы травой и давай по скошенной ниве с хохотом кататься!

— Жнивка, жнивка,— кричат,— верни мне силку! На колотило, на молотило и на кривое веретено!

Бабушка Акулина первый сноп в избу принесла и приказала грозно:

— Первый сноп в дом, а клопы и тараканы — вон!

На другой день слышит Егорий — за забором народ хохочет. Выглянул за калитку, а там на лужайке бабы толпятся, а в середине какой-то мужик чужой в красной рубахе приплясывает, на гусельках тренькает и покрикивает задорно:

— Подходи не зевай! Чего надо — покупай! Всё у меня есть, одному не выпить и не съесть!

— Никак, офеня[1] заявился? — ахнула Марьюшка и шмыг за ворота, а за ней девчонки с бабушкой.



Ну и Егорий пошёл полюбопытствовать. Редко офени к ним заглядывали.

А рыжий офеня свой пёстрый товар на коробья разложил и подзадоривает:

— Кому рыба надоелась и говядина приелась, вот у меня петушки сахарные! Как куснёшь — так уснёшь, как вскочишь — опять захочешь!

Смеётся народ, товар разглядывает. Бабы бусы, колечки да платки расхватали, а мужики деловито сапоги примеряют.

---

[1] Офе́ня — торговец вразноску по городам и сёлам.

Кто за деньги товар покупает, а кто десяток яичек или грибков сушёных тащит. Всё берёт офеня. Для долгой дороги и луковица сгодится.

— А вот булавки, чирьи, бородавки! Нитки, ватрушки, селёдочные кадушки! Козёл с серьгами и дед с рогами!

— А нет ли у тебя, мил человек, кистей для мелкой работы? — спрашивает потихоньку Егорий.

— Зачем тебе? Богомаз, что ли? А ну, хозяин, показывай свою работу, может, для ярмарки чего возьму.

Привёл Егорий весёлого мужика в избу. Всё показал — и прялки расписные, и посуду резную, и коробья плетёные, и лубяные сундучки изукрашенные.

А коробейник языком цокает, вещицы в руках со знанием вертит.

— Да-а,— говорит,— красовито. Я такой работы отродясь не видел. Грех тебе в этакой глухомани куковать. В столицу ступай, на царя постарайся. Слыхал небось, в Москве пожар случился? Огонь страшный был, доски с треском по небу летели, колокола с колоколен срывались. Вот и кличут теперь со всех концов мастеров, Москву отстраивать, чтоб краше прежнего стала.

— Да чего же я супротив московских-то мастеров стою? — смутился Егорий.— Срам один.

— Что правда, то правда, есть в Москве великие искусники. На всей земле таких не сыщешь. Поучишься у них годок-другой, глядишь — срам-то и отстанет. Я тебя к хитрому мастеру, старцу Никодиму, сведу. У самого Дионисия[1] он учился. Бог даст, и тебя наставит.

---

[1] Дионисий — великий русский иконописец второй половины XV — начала XVI века.

И так он Егория уговаривать принялся, что бабка Акулина не выдержала. Нахохлилась, как наседка на коршуна, и ну на офеню наскакивать:

— Доходились твои ножки, додумалась голова! И куда ж ты, идол беспутный, хозяина нашего сманиваешь? Аль у него дома делов нет? Никуда он не пойдёт! Куда ему идти-то? Семья у него, хозяйство, не то что у тебя, балаболки!

Отчитала его и в плешь, и в ребро, и в бороду, однако ночевать оставила. А Марьюшка за весь вечер ни слова не сказала, только грустно на Егория смотрела.

Всю ночь Егорий на лавке проворочался. Видел он в церкви иконы московского письма и не раз вздыхал, что такого умения у него нет.

Наутро, когда парного молока с хлебом поели, встал Егорий и говорит:

— Простите меня, бабушка, Марьюшка и доченьки. Решил я в Москву идти. Невмочь мне более ложки да коробья расписывать. Чую в себе другую силу. У иконописных мастеров хочу поучиться.

Ахнули бедные бабоньки и в плач ударились. Да только плачь не плачь, а раз Егорий чего решил, так тому и быть.

А офеня беспутный хохочет, Егория поторапливает:

— Не горюй, хозяин! У баб ведь завсегда так, без слёз дело не спорится.

Положили ему в котомку чистую рубаху, хлеба каравай, огурцов и яичек крутых. Поклонился Егорий всем в пояс и вышел за порог.

По белой пыли дорожной, через поля скошенные, жёсткие, по травам голубым, высоким идут, на красоту прозрачных рек любуются.

 Чем ближе к Москве подходят, тем больше

народу на дорогах встречают. Кто продавать идёт, кто покупать, а кто счастье искать.

Перед самой Москвой решили на берегу реки заночевать: ночью-то сторожа в столицу не пускают. Развели костёр, лежит Егорий, в чёрное небо молча смотрит, оробел перед огромным незнакомым городом. А на рассвете глянул на холм, на котором Москва стояла, и сердце у него забилось громко и радостно. Стоит красавица величавая, сверкает золотыми куполами на утреннем солнце! Храмы, как сахар белые, розовые облака подпирают, и всё высокой стеной, с круглыми остроконечными башнями, окружено.

По широкому, гремящему от разбитых колёс бревенчатому мосту через Москву-реку прошли. А на реке сотни судёнышек, мешками и кадушками гружённых, у берега стоят. Народу за мостом — тьма! И пеших, и конных, и в каретах — отродясь столько Егорий не видывал. Шум, крики, свист, хлысты щёлкают, лошади ржут, воздух от коптилен рыбой пропах, купцы надрываются, покупателей к лоткам за руки тащат, а на лотках чего только нет!

— Ты, Егорий, постой пока здесь,— возбуждённо говорит офеня,— я тут цены поспрашиваю.— И исчез в толпе.

Егорий отошёл под каменную стену. Смотрит: стоит парень безбородый, сытый, весёлый, а перед ним иконы разложены. «Дай,— думает Егорий,— гляну». Тут, откуда ни возьмись, выныривает белый как лунь старичок. Маленький, сухонький, в чём душа держится. Ухватил одну икону, другую, третью и давай парня-богомаза бранить:

— Ах ты нехристь, неучь неумелая! Неужто так Христа и Божью Матерь писать можно? Ни рук, ни ног нет, только стан и голова. А глаза и рот где?





Вместо них точечки натыкал! Такого живого где встретишь — помрёшь со страху!

— Не нравится — не бери! — хохочет парень.— Другие возьмут.

— Вот-вот, возьмут,— сердито кричит старик,— и ликами твоими неискусными жилища свои осквернят!

— А пущай их, дураков,— ухмыляется парень,— а мы тем живём и питаемся.

— Для пропитания другие ремёсла людям даны, а иконописцем не каждому быть можно! А ну, складывай свои страхолюдные доски и топай отсюда!

Тут уж богомаз разозлился. Набычился, схватил старичка за седенькую бородёнку и давай его туда-сюда мотать.

Кровь Егорию в лицо ударила. Да разве ж можно на старого руку подымать? Тряхнул невежу, у того аж зубы клацнули.

— А ну,— говорит,— пусти старика, а не то так тресну — три дня в башке гудеть будет.

— Вон вы как сговорились, двое на одного! — завопил парень. Однако товар свой сгрёб в кучу — и ходу!

А старичок смеётся, бородёнку руками разглаживает.

— Чуть было всю красоту мне с корнем не выдрал, дурак. Вот ведь, велик телом, да мал делом. Ему не иконы писать, а пни корчевать. Спасибо тебе, милок, что отбил. А ты кто таков будешь?

— Из деревни я, дедушка, Егорием меня кличут.

— А в Москву чего пришёл, по делу аль по праздности?

— Хочу иконописи выучиться. Старца Никодима ищу. Не слыхал про такого?

— Как не слыхать, слыхал! Лютый старик, ругательный. Сердце с перцем, душа с чесноком.

Мастеровых своих вконец замордовал. Как увидит плохую работу, как лев рявкнет и уши с головы рвёт.

— Вот зверь! — ахнул Егорий.

— Истинный зверь,— поддакивает старичок,— а кто в срок работу не исполнит — дугой согнёт, концы узлом завяжет и концы те в воду. Ну, пойдёшь ли к такому?

— Пойду,— твёрдо говорит Егорий,— и в аду люди живут, авось и я вытерплю. Лишь бы делу выучил.

— Раз так,— говорит старичок,— это я и есть тот самый Никодим. Ну, что уставился, как гусь на молнию? Небось мороз по коже дерёт, на меня глядя? — И давай хохотать.— А всё ж на ус намотай, парень, что я тебе про ленивых и неумелых сказывал. Таких не люблю. А будешь стараться — все секреты, какие сам знаю, передам. Не утащу в сыру ямку.

Бам-м! Ба-ам! Тяжко пал на землю густой звон с главной колокольни и медленно поплыл над Москвой. Тут же со всех сторон дружно и весело откликнулись сотни других больших и малых колоколов, весь город звоном затоплен. Вот он какой, малиновый звон.

Старец аж зажмурился от удовольствия, а Егорий зачарованно вверх глядит, будто звуки те разглядеть хочет.

— Ну, будет. Пошли, Егорий. Эту райскую музыку век можно слушать, как Сирина сладкоголосого. Покажу я тебе сейчас работу учителя моего Дионисия. Каждый раз как на праздник к нему хожу. Волнуюсь... Когда пожар Москву покарал, думал, помру от горя. Сколько красоты неземной сгорело! Никто теперь на Руси о ней не узнает. Чудом каким-то самая малость уцелела.

Подошли к мощному и гордому, как былинный

русский богатырь, Успенскому собору. У входа инок молодой в чёрной рясе.

— Рано ещё, православные,— говорит,— позже приходите.

— Я государев жалованный иконописец,— строго говорит Никодим,— а это — ученик мой.

Поклонился инок с почтением и в сторону отступил.



Внутри храма такая тишина торжественная, высота светлая и величие, что Егория страх и трепет охватил. «Господи,— думает,— да неужто красота эта человечьими руками сделана, а не ангелами небесными?»

Тысячи свечей освещают стены и колонны, до потолка расписанные, иконостас золотом и красками сияет.

— А вот Дионисия работа,— шепчет Никодим,— ты гляди неотрывно, учись любви его великой к людям, милосердию учись. Разве иначе можно такие цвета нежные удумать? А линия, гляди, какая смелая, чистая, как песня... Ну, чего молчишь-то? — взглянул на Егория, а у того от волнения ком в горле застрял...

— Сам-то чего делать умеешь? — осторожно спрашивает старик.

— Вижу теперь, что ничего не умею...

— Твоя правда,— улыбнулся Никодим,— это только неучи думают, что всё умеют, а настоящий мастер всегда печалится, что плохо делает. Я вот сам у Дионисия десять лет краски тёр, к кистям не касался. К седым годам только знаменщиком[1] стал. Однако пойдём, пожалуй, артель ждёт.

Вышли они на площадь, а там шум и толчея

---

[1] Зна́менщик — иконописец, делающий рисунок будущей иконы.

после тихого храма ещё сильнее показалась. Прямо на них бородатые мужики двух медведей в цепях на потеху тащат. Медведи ревут, упираются, а медведчики в бубны лупят, в рожки дудят и громко народ заманивают на весёлое зрелище.

Лошади храпят от медвежьего духа, задом пятятся, опрокидывают бочки с мочёными яблоками, купцы орут на возчиков, возчики на лошадей, тут ещё царская стража сквозь толпу на конях продирается, дорогу себе плётками со свинцовым концом расчищают.

— Что, страшно после деревни-то? — смеётся Никодим.

Свернули на боковую улицу. Народу на ней поменьше, а ухабов да ям побольше. Через грязные лужи дощатые мостки перекинуты, а где их нет — телеги вязнут. Слева и справа, как лес сосновый, бревенчатые частоколы стоят, а в них ворота глухие с хитрыми запорами. Каждая изба вроде крепости от соседей огорожена. Общих заборов нет, потому между соседями узкие проходы тянутся для сточных канав.

«А избы-то какие чудные! — удивляется Егорий.— Высокие, узкие, теснотища небось в них. Моя изба боярскими палатами рядом с ними бы стояла». Оконца вроде щелей, под самой крышей слюдой поблёскивают, а землицы внутри частоколов на маленький огородец едва хватит.

— У нас в Двориках так друг от дружки не отгораживаются. Простору у вас нет,— смущённо говорит Егорий.

— Да откуда ему взяться-то, простору? Знаешь, сколь здесь народу живёт? Тыщ двести будет!

— Ну да?! — изумился Егорий.— Эка прорва!

Свернули ещё несколько раз и наконец остановились у новенькой, только что отстроенной церкви.

Причудливая такая, узорчатая, на сказочный теремок похожа. Стены резным белым камнем выложены, столбы витые, а пять ярко-синих куполов золотыми звёздами сияют.

— Вот её, красавицу, и украшать будем,— ласково щурится Никодим.

«Хороший старик,— думает Егорий,— зря напраслину на себя наводит, что зверь он лютый».

Однако, как только порог церкви переступили, хорошего старика словно подменили. Брови мохнатые насупил, глазами сверканул да как подскочит к мастерам, что в уголку на лавке мирно ели, и давай ругаться:

— Вы чего это, идолы языческие, делаете?! Вы что ж это пиршествами храм скверните? Разве здесь двор постоялый? Погодите, ужо накажет вас Господь, как Дионисия наказал.

— Неужто и Дионисий грешен был? — не верят мастера.

— Был. И вот как. Старец Пафнутий запретил нам в монастыре есть, а чтоб в деревню ходили. А Дионисий-то время на хождения тратить не хотел. Он ведь как начнёт писать, продыху ни себе, ни нам не давал. Ну вот, велит он мне однажды, как самому молодому, принести из деревни жареную ногу. Я и принёс тайно от Пафнутия. Вечерком села артель в укромном местечке поесть, а Дионисий, как старшой, вкусил первым и отшатнулся. Мясо-то вдруг протухло и в червях всё стало. Во как. Дионисий говорит: «То кара Господня мне за ослушание». И слёг и болел, пока игумену не покаялся.

— Авось нас минует сия кара,— хохотнул Мирон,— брюхо-то, злодей, добра не помнит. Пока не набьёшь — работать не велит.

— Видать, брюхо-то у тебя и душу вон вытолкало. Нынче встретил такого богомаза на площади, не

ангелов бестелесых пишет, а мирских чревоугодников, каков сам есть. Сцепился я с ним, спасибо вот Егорий отбил. Слышь-ка, Лука, запиши его в свою книгу кормовым, а там поглядим.

— Как это кормовым? — не понял Егорий.

— Харчами, значит, будешь получать,— степенно отвечает лысый Лука,— да и то, пока работа есть. А как работы не будет, так и кормов не будет. Кем писать-то его, отец Никодим?

— Ну, раз из деревни он, знать, дерево любит. Будет пока доски иконные ладить. Так и запиши. А ты, Мирон, научи новичка. Ну, и вы, ребятушки, давайте с Богом за работу. Бери, Егорий, скобель, выбирай в углу доски да гляди, чтоб без сучков были, и строгай добела.

Засучил Егорий рукава, взял острый скобель за две ручки и снял с сосновой доски первую стружку. Сразу смолой запахло, лесом, домом родным! Он и успокоился. Отлетели в сторону и медведи в цепях, и злая царская стража, и весь шумный город.

Старается парень, осрамиться боится, да и руки по работе соскучились. К вечеру чуть не все доски остругал.



— Ну куда гонишь, куда? — ворчит Мирон.— Всю работу никогда не переделаешь, а от неё не будешь богат, а будешь горбат. Ты, парень, не спеши. Быстро кончим, быстро взашей вытолкают. Куда тогда пойдёшь?

— Я по-другому не могу. Сказывай, чего дальше делать?

— Эх, простота! — безнадёжно говорит Мирон.— Складывай инструмент, спать дальше пойдём. Вымети стружки из храма, если руки чешутся.

Пока Егорий в храме подметал, артель разошлась по домам. Один отец Никодим в пустом, тём-

ном храме остался, да Егорий незаметно в уголке примостился: идти-то ему некуда.

Зажёг старец свечу и встал задумчиво против каменной стены. Долго глядел на неё не отрываясь. Горячий воск всю руку ему закапал, а он и не замечает. Вдруг поднял свечу и решительно, как огненной кистью, перед стеной взмахнул, будто нарисовал что-то.

Мерцает маленький огонёк, скользит по стене, свершается таинство, рождается из тьмы невидимая фреска. На одних стенах старик тихо рисует, задумчиво, на других — радостно, с улыбкой, а как к самой большой подошёл, преобразился весь. Стоит страшный такой, решительный, глаза яростью горят и свечой, будто молниями огненными, кого-то разит беспощадно.

Так все стены старец огнём «изрисовал», десятка два свечей извёл и только к концу ночи на Егория наткнулся. Испугался бедный, аж огарок выронил.

— Не бойся, отец Никодим, это я тут сижу,— смутился Егорий,— прости, что сразу не сказался, мешать тебе не смел.

— Фу ты окаянный! — рассердился старик.— У меня ноги со страху подкосились. Ишь притаился, сыч ночной!

Поворчал ещё по-стариковски, но потом смягчился:

— Неужто вот так всю ночь на каменьях просидел?

— Так ведь занятно было! — с жаром воскликнул Егорий.

— Ну-ну... Дождался я, видать, себе ученика на старость,— устало проговорил Никодим, сел под стену и сразу уснул.

А Егорий снял с себя армяк и укрыл его осторожно...



*

С той ночи взял Никодим Егория к себе жить в маленькую, одинокую избёнку. Ничего он за всю жизнь не нажил, кроме кованого сундука, в котором хранились тёмные бумажные листы с прорисями самых знаменитых московских, псковских и новгородских икон. Там же, на самом дне, лежала ещё одна драгоценность – большая рукописная книга в обтянутом кожей деревянном переплёте.

Каждый вечер после работы Никодим, вымыв руки, зажигал свечу, бережно доставал книгу и терпеливо учил Егория грамоте. А книга была презанятная, про храброго витязя Бову-королевича. Храбрости и силы был необыкновенной, по 30 000 войска один побивал! А сколько чудес с ним случалось!

Отец Никодим, бывало, давно уж на тёплой печи седьмой сон досматривает, а Егорий никак от книги оторваться не может.

«Велит король Маркобрун собрать 40 000 войска и погубить Бову, а те испугались и говорят: «Государь наш, король Маркобрун! Бовы нам не взять, а только головы свои сложить. Есть у тебя, государь, сильный богатырь, а имя ему Полкан. По пояс у него пёсьи ноги, а от пояса, что и прочий человек, а скачет он по 7 вёрст. Тот может Бову догнать и поймать, а сидит он у тебя в темнице за 30 замками и 30 мостами».

И король Маркобрун велел Полкана из темницы выпустить и послал за Бовою. И Полкан пошёл скакать по семи вёрст».

Слипаются глаза у Егория, голова к столу клонится, клонится и хлоп лбом об книгу, аж Никодим на печи подскочит.

– Ты чего там, сыч ночной, озоруешь?! Спать

ложись, а то будешь завтра сонной тетерей моргать, не жди пощады тогда.

— Сейчас, сейчас, отец Никодим, чуток осталось,— и на крыльцо в ночь выскочит. Лицо осеннему дождю подставит, вздрогнет от холода и бегом в избу, опять читать.

«И Бова взял меч, сел на доброго коня и без седла поехал против сильного богатыря Полкана. И как съезжаются два сильных богатыря, и Бова махнул Полкана мечом, и у Бовы меч из рук вырвался и ушёл до половины в землю. А Полкан Бову ударил палицей, и Бова свалился с коня на землю мёртвым. И Полкан вскочил на Бовина коня, а добрый конь Бовин увидел Полкана, закусил мундштук и давай носить по кустам, и по зарослям, и по лесам, и ободрал по пояс ноги и мясо до костей. И Бова лежал мёртв три часа и встал как ни в чём не бывало и пришёл к жене Дружевне в шатёр и лёг на кровать».

И Егорий, вроде Бовы, часа три поспит мёртвым сном, утром вскочит как ни в чём не бывало и в церковь раньше Никодима спешит. Так что Никодиму ни разу не пришлось «дугой его сгибать и концы узлом завязывать». Наоборот, хвалил частенько, разные секреты раскрывал.



Вот, к примеру, кончился как-то клей, которым Егорий доски между собой клеил. Что делать? Работа стоит, а Никодим говорит:

— Не велика беда. Сбегай-ка в мясную лавку, чугунок свежей крови принеси и разведи с известью. Знатный клей будет.

Когда все склеенные доски высохли, по ним не сразу писать начали, а сначала левкас в несколько слоёв положили. Для левкаса три мешка мела Егорий в порошок истёр, потом порошок этот с прозрачным рыбьим клеем смешал и деревянной лопа-

точкой все доски тонко покрыл. Как один слой высыхал, другой наносил, и так раз пять. А после доски жёстким хвощом гладко, до бархатной белизны зачистил.

Стоят робко вдоль стены белоснежные доски, ждут, кем же они вскорости станут? А кем они станут, знает пока только один — знаменщик Никодим.

— Ну, мастера,— говорит он однажды торжественно,— завтра писать начнём. Сегодня чтоб все в бане попарились, грехи с себя смыли, да глядите, чтоб во всём чистом пришли.

У самого Никодима баня давно от старости развалилась, поэтому пошли они с Егорием к хозяйственному Луке. Жена Луки загодя полы и лавки в бане добела ножом выскоблила, натаскала с речки вкусной воды в многоведёрный котёл и затопила жаркую печь. Печь же без трубы была, дым через узкие волоковые оконца на двор валил. Все стены и потолок от сажи чёрные, но зато нагревалась баня быстрее и не остывала дольше.

Первыми, на самый сильный жар, мужики пошли. Пока Лука с Егорием в предбаннике раздевались, Никодим в момент одежонку поскидал, юрк в пекло и давай там ковшами орудовать, раскалённые камни для пару поливать. От берёзовых веников такой густой лесной дух пошёл, вздохнёшь — выдыхать обратно не хочется.



— Ну-ка, Егорий, отведи душеньку, отлупцуй меня веничком,— подзадоривает Никодим и шасть на самую верхнюю полку, где такой жар, что душа печёной становится...

— Жарь,— кричит задиристо,— не боись! Авось не убьёшь веником! Не муха!

«Да уж вижу, не муха,— усмехается Егорий,— муха-то потолще будет». И раз просят, так отходил старичка, еле с полатей сполз. Пот с него градом,

кряхтит, охает, однако улыбается блаженно, будто райских яблок вдоволь наелся.

— А помнишь, Лука, как мы в прошлую зиму у тебя голландца Якоба парили? Ну того, что живописи приезжал нас учить? Я его, Егорий, как ты меня нынче, на лавку уложил и давай веником по толстой спине хлестать. А он завизжал поросёнком, с лавки кубарем скатился и ну лаяться! «Я,— кричит,— иностранец! На меня не можно руку подымать! За что, старик, прутьями дерёшься? Разве я плохой живописец? Себя мучьте, коли провинились, варвары, чёрт вас забирай!»

— Гляньте-ка,— вдруг говорит Егорий,— лягушонок в углу сидит!

— Всё лето здесь живёт,— улыбается Лука,—такой озорник! Как баню затопишь, он тут как тут. Вылезет откуда-то весь чёрный и давай квакать от радости. Никакого жара не боится!

— Потому что российский. Голландский-то давно бы упрыгал. А ну-ка, Егорий, поддай парку, что-то уши мёрзнут! — не унимается Никодим.

Плеснул Егорий на раскалённые камни кружку кваса, ячменный дух всю баню наполнил, хоть ложками ешь. Попарили ещё друг дружку не единожды, чистые рубахи надели и пошли распаренные через огород в избу. Теперь бабы пошли «себя мучить».

*

На другой день вся артель, чистая, торжественная, в храм пришла. На смертную войну и на важную работу только так на Руси шли.

— Ну, с Богом,— размашисто перекрестился Никодим.— Я святого Николу знаменить начну, Лука с Егорием припорох вот с этих прорисей делайте, а остальные сами знаете, не впервой.



Поставили перед Никодимом большую белоснежную доску, обмакнул он тонкую кисть в красную краску, поводил ею, примериваясь, и уверенно, одной тонкой линией принялся Николу знаменить. Почему ж Николу первого? Так ведь в честь него эту церковь поставили.

Рисует Никодим, а сам про Николу рассказывает:

— Как-то раз у одного мужика увяз в грязи воз. Толкал, толкал, не идёт воз — и всё тут. А мимо Касьян Угодник проходил. Мужик его не признал и просит: «Помоги, мил человек!» — «Поди ты,— говорит ему Касьян,— некогда мне с тобой валандаться». А за ним Николай Угодник шёл, влез в грязь по колено и помог мужику.

Вот пришли они оба в рай. «Где были?» — спрашивает Господь. «Я был на земле,— отвечает Касьян,— видел мужика, у которого воз увяз. Просил он меня помочь, да я не стал райского платья марать».— «А ты где выпачкался?» — спрашивает Господь у Николая. «Я мужику помогал»,— отвечает. «Раз так,— говорит Господь,— отныне тебе, Никола, люди два раза в год молиться будут, а тебе, Касьян, раз в четыре».

Вот он какой, наш Никола, всегда за простого человека стоит. А Касьян со злости, в свой год високосный, народу в два раза больше косит.

Слушает Егорий, а сам новую работу — припорох — у Луки перенимает. Взяли они большую бумажную прорись крылатого архангела Михаила, что Никодим из своего заветного сундучка принёс, на левкасную доску положили ровненько и приклеили осторожно по уголкам чесночным соком.

А сама прорись вот как делалась. Икону, которую хотели повторить, обводили по контуру клей-

ким чесночным соком и, пока сок не высох, к иконе осторожно прижимали бумагу и долго тёрли тёплой ладонью, пока не перейдут чесночные линии. Потом лист этот на войлоке часто-часто иглой по линиям прокалывали, так что, если его на свет посмотреть, весь рисунок из мелких дырочек состоять будет.

Взяли Лука с Егорием по маленькому тряпичному мешочку с чёрной угольной пылью и стали по прориси этими мешочками бить.

Уголь сквозь дырочки на белый левкас осел, и, когда бумагу осторожно подняли, на доске припорох — точечный рисунок крылатого ангела остался.

— Бери иглу,— говорит Лука,— и графью по точкам этим царапай. Да смотри уголь-то рукавом не смахни!

Царапает Егорий, а сам чуть дышит, уголь боится сдуть.

Никодим подошёл взглянуть.

— Только до доски левкас не царапай,— говорит,— а так хорошая графья получается, плавная, смелая, как сам ангел. Самого Бога ведь не побоялся.

— Да как же это? — изумился Егорий.

— Дело вот как было,— начал Никодим.— Призвал Господь архангела Михаила и говорит: «Слети на землю и отними душу во-он у того грешного мужика». Михаил слетел и видит: у мужика-то восемь детей — мал мала меньше. Так ему жаль мужика стало, что он говорит: «Как уморить его, Господи, ведь у него дети малые? Погибнут они от голода!» — «Ах так! — рассердился Господь.— Живи тогда за ослушание на земле!» Отобрал у Михаила золотой меч и крылья и заставил на земле три года жить.



Настал черёд златописцев. Те места у икон, которые золотыми должны быть, сначала красной краской покрыли, чтоб она сквозь золото светилась. На мокрую краску тончайшие лепестки золота стали осторожно класть, да не пальцами, а заячьей лапкой, чтоб к рукам не липло.

Медленная работа, кропотливая, спешки не любит. До самого декабря над этим просидели. На Варварин день жестокий мороз ударил. Вечером отец Никодим с каким-то узлом в избу протиснулся. Нос красный, усы в сосульках, поёживается от холода.

— Трещи, Варюха, береги нос да ухо! — смеётся.— А я тебе, Егорий, тулуп принёс. Не дай Бог, обморозишься, на кой ты мне тогда мороженый нужен будешь! На-кось, примерь.

— Спасибо тебе за заботу, отец Никодим,— растрогался Егорий,— век не забуду. Где ж достал такой?

— Да тут недалече, у одной вдовушки. У неё мужика на прошлой неделе до смерти запороли.

— Да за что же?

— У него, видишь ли, мальчонка малой на дорогу из ворот выбег, а тут опричник хмельной на санях летел. Нет чтоб свернуть, так он прямиком на мальчонку, озорства ради, как на собаку какую, конём налетел. А мужик, отец мальчонки, во дворе дрова колол, у него на глазах всё и было. Схватил он топор да как метнёт через забор опричнику вслед! Прямо обухом по спине огрел.

— Убил?

— Да нет, зашиб только. Вот за это и запороли его... Хороший был мужик. Чего теперь вдова с тремя мальцами делать будет? Отнёс ей деньжонок,

муки тоже, а она, добрая душа, тулуп тебе отдала. Носи, не побрезгуй.

Когда златописцы свою работу закончили, настало время за краски браться. Краскотёры принялись в деревянных ложках без ручек краски пальцами творить, растирать их, значит, с яичным желтком и квасом.

Сначала одежды писали, горки[1] с палатками[2] и травками[3]. Егорию травы ещё с деревни знакомы, ему и доверили их написать.

— Ай да Егорий! — похваливает отец Никодим.— Иди-ка, Мирон, поучись, а то всё тяп-ляп делаешь.

— Ничего,— ухмыляется Мирон,— и так сойдёт. Кривое закрасится, лачком прикроется.

— Не пойму я тебя, Мирон, для кого живёшь? — тихо говорит Никодим.— Ни себе удовольствие, ни другим радость. Придут в храм простые люди, ни читать, ни писать не могут, а только видеть. Любо ли им будет на кривые лики смотреть? Стараться надо, чтоб за свою работу не стыдно было.

А Егорий старался, отощал совсем, науку перенимая. Бывало, отец Никодим чуть не силком его из избы выталкивает, пойди, мол, погуляй, Масленица ведь, погляди, как народ веселится.

— Да нет,— вздыхает Егорий,— какое уж тут веселье, когда жена с ребятнёй дома горюет. Как они там, сыты ли, не обидел ли кто? Эх, и гостинца не с кем послать...

— Вот апрель «зажги снега» придёт, пошлём чего-нибудь с твоим знакомцем офеней. А если к

---

[1] Го́рки — пейзаж.
[2] Пала́тки — архитектура.
[3] Тра́вки — растительность.

концу лета, Бог даст, работу кончим, и сам домой сходишь.

— Правда?! — обрадовался Егорий.

— Истинная правда, — загрустил Никодим. — А вернёшься ли обратно, сынок? Я без тебя как без рук теперь. Моему-то сынку, Владимиру, четыре года назад царёвы опричники прямо в деревенской церкви голову саблей снесли за то, что не давал им храм грабить. Тоже иконописцем был... Да вот вместо него тебя, видать, Господь мне послал... Ну чего, чего моргаешь? Ты вон лучше на печку моргай, остыла вся! И на кой я тебя здесь держу, коли дров принесть не можешь?

Да так разошёлся, что полночи на печи ворочался и ворчал. Сердился, видать, старик на свою одинокую жизнь, а больше на то, что сердце своё раскрыл.

*

А в церкви уж личники за дело принялись. Самая трудная работа — лица и руки писать, большое умение для этого требовалось, глаз точный и рука твёрдая. Лики должны умом и красотой светиться, а такое написать можно, если у самого мастера душа светлая. Сколько любви и ласки должно быть в Богоматери, сколько тревоги и сострадания ко всем людям. Кто бы ни пришёл к ней: злодей ли заблудший, голодный нищий, калека хворый или просто человек со своей бедой — каждый увидит в ней свою родную мать, которая всё поймёт, всё простит, пожалеет и ободрит.

Никодим лик Параскевы Пятницы пишет и рассказывает тихо:

— Слаба женщина, да сильна любовь её. Никакой силой верность её не сломить... Однажды город, где мощи Параскевы покоились, осадили полчища

сарацинов. И было их так много, а горожан так мало, что о спасении и не думал никто.

И вот в церкви, где Параскева лежала, вдруг ночью сами собой зажглись свечи и неслышно вошли два светлых ангела. Их Христос послал сказать, что город завтра погибнет, а ей уходить надобно. Параскева из гроба встала, выслушала их, громко заплакала и говорит: «Передайте Христу: если погубит он невинный город, то и я вместе с ним погибну».

И как ангелы её ни уговаривали, как ни грозили, легла обратно в гроб, а свечи все потухли...

Ну, Христу жаль стало Параскеву, и утром он обрушил на проклятых сарацин страшный гром, огненные молнии и раскалённые камни. Однако всех побить не смог. Слишком много их было. Ворвался-таки сарацинский царь в город и решил увезти с собой святые мощи Параскевы. Вот тут-то великая верность её и обозначилась!

Тридцать коней гроб её тащили, да только он ни с места! Царь видит такое безнадёжное дело и говорит: «Несите мне столько золота, сколько ваша святая весит, и оставляйте её себе».

Принесли горожане всё золото, какое было в городе, и стали на весах вешать. На одной чаше мощи, на другой – золото, да только золото перетягивает. Сняли часть золота. Опять перетягивает! И так снимали и снимали, пока на весах не осталось 15 золотых монет. Тем и откупились, и от разорения спаслись.



Вот какая история! Попробуй-ка, Егорий, житие Параскевы на клеймах написать, чтоб, кто ни глянул, словно в книге о ней прочитал.

Задумался Егорий. Ох и сложную работу Никодим задал! Ну, раз задал, значит, верит, что сделает.

Сначала поля иконы на 16 клейм, квадратов, зна-

чит, разделил и в каждый квадрат, с левого верхнего угла, стал всю историю Параскевы писать. Мелкий рисунок, сложный, самой маленькой кистью работает. А как до вступления сарацин в город дошёл, вспомнил, как страшно горели избы в Двориках, как люди в дыму и огне метались, как кочевники их конями топтали и острыми саблями рубили. Всё вспомнил, всё, как было. Так и написал.

Обступили его мастера, а Никодим бороду задумчиво теребит.

— Да-а,— говорит,— навыдумывал ты, Егорий. В «Житие святых» такого не сказано.

— В жизни было,— тихо, но твёрдо отвечает Егорий.

— Да уж вижу, что было, потому как правдиво, будто с живца писано. Однако не любит церковь такие вольности. Велят, чтоб всё по канону, по-старому было. Ох, влетит же нам, ребятушки! Только какие мы мастера будем, если ничего нового писать не станем, а только с прорисей, как бесталанные, срисовывать? Вон ведь все церкви разные, одна на другую не похожа, и нам грех одинаковыми иконами их украшать.

— А не боишься? — спрашивает осторожный Лука.— Слыхал небось, сколько еретиков в деревянных клетях сожгли?

— Слыхал,— спокойно отвечает Никодим,— и даже сам видел. Это ведь только сегодня помирать страшно, а когда-нибудь ничего. Авось пронесёт...

Вдруг дверь настежь распахнулась, и вбегает какой-то человек в рваной рубахе. Голова в крови, в глазах ужас, лицо снега белей.

— Спасите, люди добрые! — хрипит.— Схороните, Христа ради!

— Да кто ты? — строго спрашивает Никодим.— Не вор ли ночной?

— Не вор я, не вор! Опричники за мной гонятся!

А на улице и впрямь топот лошадиный и крики злые совсем близко.

— Куда ж тебя деть-то? — всполошился Никодим. — Тут и схорониться-то негде!

А Егорий схватил мужика за руку и потащил его бегом в дальний угол, где разный материал для работы лежал.

— Закрой глаза живо! — приказал, а сам зачерпнул из лохани полные пригоршни разведённой извести и плеснул тому в лицо, а потом и всю одежду обрызгал. Не узнать стало мужика!

— На́ тебе мочало, — торопит Егорий, — и вози по стене, будто белишь.

А в распахнутую дверь уже опричники ворвались.

— Стой, нехристи! — гаркнул Никодим так громко, что под куполом ухнуло. — Куда в святой храм с оружием прёте?! Прокляну!

— Тихо ты, мухомор, уймись! — огрызнулись опричники, однако за порог на всякий случай отступили. — Сказывай, куда беглого схоронил?

— Не видал я никакого беглого, да и где ему здесь хорониться-то? Ни комнатки тайной, ни подпола в храме нет.

— Куды ж он мог деться? — не верит старшой.

— Не знаю и не ведаю. Это уж ваша забота, соколики, а у нас своих полно.

— Да уж вижу ваши заботы! Стены голые, зато сами в краске по уши! — тычет пальцем в сторону беглого.

— Давно этого дуралея хочу из артели прогнать, — сердито говорит Никодим, — да кому блаженный нужен? Может, себе на службу возьмёте?

— У нас своих дурней девать некуда! — загоготали стражники и убрались из храма.





Никодим без сил на лавку опустился.

— Ну,— говорит,— пронесло, кажись. А ты, Егорий, хитёр, как лис седой! Мне до такой штуки век не додуматься. Эй, мил человек! Поди сюда! Да не бойся, брось мочало-то. Сказывай, за что они за тобой волками гнались? Чего натворил-то?

— Только того и натворил, что в Великом Новгороде родился,— отвечает беглец, а сам весь дёргается и глазами дико поводит.— Приехал к нам сам государь, а с ним стрельцы, князья да опричники. Встретил государя архиепископ Пимен с крестами и чудотворными иконами.

А государь к кресту не подошёл, а принялся в великой ярости Пимена хулить: «Ты, злочестивец, не крест в руке держишь, а меч острый и тем мечом хочешь сердце моё пронзить и державу нашу отдать королю литовскому Жигмонту Августу. Отныне ты не епископ, а волк, хищник и губитель!»

И тотчас повелел все церкви разграбить, взять казну, чудотворные иконы греческого письма, ризы золотые и колокола тоже. Потом сел на судилище и приказал привести всех новгородских бояр, детей их и жён и перед собой заставил пытать. До сих пор крик в ушах стоит!

— Ах ты, Господи, злодейство-то какое!— в ужасе крестится Никодим.

— Не всё ещё злодейство,— громко шепчет мужик, а у самого глаза, как у безумного, сделались.— Остальных повели на Волховский мост. Малых детей, ещё молоком питающихся, к матерям верёвками привязали, а мужьям камни на шею и с великой высоты в реку всех столкнули! Государевы же люди по Волхову в ладьях плавают с баграми, копьями и топорами и, кто со дна вверх всплывёт, того насмерть забивают. Звери! Звери кровавые!!— зашёлся беглец в крике и в страшных рыданиях.

Бьётся на полу, как в лихорадке, а мастера от ужаса будто каменные стоят.

— Выпей водицы, милый,— плачет Никодим,— ну что ж ты так убиваешься, сынок?

Дали ему воды, а он её ко рту дрожащими руками поднести не может, всю на рубаху расплескал.

— И так пять недель подряд предавали страшной смерти по тысяче человек, а когда уставали, то по пятьсот только забивали. Потом собрал самодержец всех, кто жив остался, перед собой поставил, оглядел кротким оком и говорит: «Вся пролитая кровь взыщется с изменника Пимена. А вы ни о чём не скорбите и живите с благодарностью». И отпустил всех, а Пимена с попами и опальными людьми вроде меня приказал в Москву везти в деревянных клетях и головы рубить, другим в назиданье. А я вот чудом убёг...

Кончил бедолага свой страшный рассказ, обхватил голову руками и затих.

— Куда ж ты теперь, милый? — обнял горемыку Никодим.

— В степи за Волгу подамся,— угрюмо отвечает тот,— слыхал, хоронятся там беглые со всей Руси.

Собрали ему мастера кое-какую одежонку и еды, сколько у кого было. Поклонился он всем низко в пояс и ушёл в ночь.

*

Вот уж и лики на иконах мастера написали. Теперь оживки класть надо. Все места выступающие — скулы, подбородки, лбы, кончики пальцев, складки одежды — белыми штришками оживили, и стали доски не плоскими, а с глубиной. Никодим сам в последний раз всё строго осмотрел,

 подправил где надо, перекрестился и говорит:



— Всё, мастера. Кончили мы иконостас с божьей помощью. Вроде не осрамились, а? Давайте олифить теперь. А ты, Егорий, ступай за мной.

Привёл его в сарай, что на дворе стоял, дверь на щеколду закрыл, достал из-под полы маленький холщовый мешочек.

— Что это, отец Никодим?

— Тебе одному, как лучшему ученику, секрет раскрою,— шепчет.— Однако клянись, что с собой в могилу тайну не возьмёшь, другому мастеру передашь.

— Клянусь,— торжественно говорит Егорий и крест целует.

Никодим мешочек развязал и на стол какие-то маленькие рыжеватые камешки высыпал.

— Янтарь это, камень драгоценный,— шепчет.— Растолки его сейчас в ступе и в олифу высыпь. От янтаря она сверкать начнёт.

Егорий так и сделал. Растолок камешки и высыпал блестящий песок в олифу. Будто искры золотые в ней загорелись!

Вернулись в храм, и все иконы, лежащие на столах, густо этой тайной олифой залили. Краски под блестящей олифой засверкали в сто крат ярче, будто изнутри солнечный свет брызнул!

Стоят вокруг мастера, молча на красоту любуются.

— Ну, чего примолкли? — щурится Никодим.— Прощаетесь? Правильно, теперь эта работа своей жизнью зажила. Сам каждый раз как с детьми расстаюсь. Одно утешает: красота эта людей радовать будет. А ты, Лука, мастеров порадуй. Выдай всем кормовые за полгода, кто сколько заработал.

Повёл Лука всех в кладовую, достал свою толстую книгу, где записывал, кто что делал, и стал жалованье делить. Подмастерьям по пуду ржаной

муки и овса выдал, а мастерам — по два пуда муки, два ведра пива и по ведру мёда. А особо искусным полпуда соли добавил. И Егорий среди них был.

Три дня отдыху всей артели Никодим дал, чтоб своим хозяйствам помогли, огороды вспахали, избы подлатали, ну и просто в семье побыли. А сам слёг. Будто все силы в свершённую работу перетекли, а ему только душа усталая осталась.

Егорий маялся-маялся без дела и пошёл за реку лесом подышать.

Ах, какая зелёная тишина за Москвой-рекой! До самого небесного купола покой землю заполнил. Отодвинулся далеко назад огромный город со своими стенами, заборами, крепкими воротами. Исчез, будто и не было его никогда, безумный, кровавый царь, отлетели тревожные думы.

Стоит Егорий один в голубом воздухе, а внутри такая лёгкость радостная, какая только в детстве бывает.

Кое-где, на солнечных пригорках, мать-и-мачеха в жёлтенькие платочки нарядилась, а берёзки в нежных, светлых листочках, издалека на детские пушистые головки похожи.



И вдруг слышит Егорий, высоко в небе будто звонкий ручей зажурчал. Выбежал на поляну и видит: летят от Москвы чередой по синему небу, под облаками лебеди. Вот уж над ним тяжёлыми крыльями машут, а самый последний обернулся, посмотрел на Егория и курлыкнул, как знакомому.

Ах, как захотелось Егорию разбежаться, замахать сильно руками и полететь вместе с ними в родные свои Дворики, где ждут его не дождутся и бабушка, и жена, и дети, и даже кот Терентий; где в речке Весёлке тёплыми ночами голубые русалки

тихо плещутся, а в сосновом бору хромой леший в дупле кряхтит. А в избе за печкой маленький домовой затаился, по ночам озорничает, ложки и веретёна прячет, и, если ему «бороду не завяжешь», лыком ножку стола не обмотаешь, ни за что не отдаст, что спрятал.

А петух Петька каков! На заборе никогда не кукарекает, а только на крыше. С самого конька как гаркнет во всю моченьку, куры со страху приседают, а потом крылья свои огромные расправит и вниз орлом бросается, зелёными и красными перьями, как Сирин сказочный, на солнце сверкает. А может, он и есть Сирин, только в петуха заколдованный?

Дворики вы мои, Дворики!..

*

В тот день, когда Егорий белых лебедей увидел, твёрдо решил уйти из Москвы домой. Но прежде стены в храме расписать надо. Нельзя дело на полпути бросать, артель и Никодима подводить.



Лука с подмастерьями уже всё что надо в торговых рядах купили и на телеге во двор привезли, а 150 бочек старой, десятилетней выдержки извести купцы из далёкого Ростова доставили.

Все покупки Лука в свою хозяйственную книгу старательно записал:

«Из шубного ряда за выделанную овчину для протирки левкаса дано 3 алтына 2 деньги.

За бокан тёмно-красный из голландского жука кошениль дано 11 рублей 17 алтын 2 деньги.

Было куплено к стенному письму 300 штук свежих яиц. Денег дано 56 алтын.

Куплено на 100 кистей щетинных свиной щетины 15 фунтов по 6 алтын 4 деньги и на тонкие кисти хвостов беличьих четверть».

Загодя, пять недель назад, лён замочили и растрепали на волокна, а теперь в жгуты его скрутили и нарубили мелко. Без льна известковый левкас растрескается.

Тогда же, во дворе, в больших ямах — творилах — смешали известь с водой, песком и льном и каждый день деревянной лопатой перемешивали.

А Никодим работу меж мастерами распределил.

— Мирон! Возьми Гришку и Ондрюшку, и сбивайте леса под самый купол. Да гляди у меня, чтоб крепко было! Не дай Бог, кто сверзится, не жди пощады тогда.

— Вот привязался-то,— ворчит Мирон,— уж и так надвое разрываюсь, а он всё талдычит, почему не на четверо.

— А ты, Егорий, с Истомой и Никифором берите полутесовые гвозди и меж кирпичей нечасто вбивайте, да чтоб шляпки на два пальца от стены отстояли.

— Зачем это, Истома? — тихонько Егорий спрашивает.

— Да чтоб левкас со стены не сползал.

Наконец через неделю, когда левкас в творилах поспел и леса под купол поднялись, приказал Никодим опять всем в бане грехи смыть и в чистом прийти.

Утром, когда артель собралась в храме, Никодим, помолившись, приказал:

— Начинайте, с Богом, левкасить. Да не забудьте стену водой облить, а то не пристанет.

Принялись мастера с самой верхотуры, с купола, стену ковшами поливать и левкас толстым слоем класть, железными лопаточками разглаживать. Когда первый слой высох, велел Никодим краскотёрам краски творить.

На больших гладких камнях смешивали они сухие краски с водой и желтком и растирали много часов.

На третий день забрался Никодим на самый верх в купол и кричит оттуда:

— Подымайте сюда три лохани левкаса! Да аккуратно ступайте, больно шатучие леса Мирон сработал!

— Да держится ведь! — огрызается Мирон.

— Как корова на седле,— сердито ворчит Лука.— Ну-ка посторонись.

Втащили тяжёлые лохани наверх.

— Кладите второй слой потоньше и в два моих роста, более не надо.

— А почему так мало? — удивляется Егорий.

— Потому, что писать только по мокрому можно. Краска с известью свяжется, будет прочно и вечно. Сколько успеешь сразу написать, столько и клади левкаса. А по сухому писать станешь — всё отвалится.

Как только купол залевкасили и овчиной до блеска загладили, Никодим, не мешкая, знаменить начал. Смело и скоро огромный лик Христа одной линией жидкой красной краской нарисовал.

— Наводи, Егорий, графью ножом. Да не стой ты столбом! Сохнет же! До обеда записать надо,— торопит Никодим.

Прорезал Егорий в мягком, как тесто, левкасе линии по рисунку, а Никодим санкирь составил — краску зеленовато-коричневую, для лика и рук.

— А не темноват лик-то будет? — осторожно спрашивает Егорий.

— Так я его потом охрой и белилами высветлю! В стенописи, запомни, завсегда от тёмного к светлому идти надо. Эх, кабы и в жизни так было,— вздыхает,— тёмного бы поменьше, а светлого побольше.





Не идёт у меня из головы, что царь с Новгородом сделал. Кочевники дикие и то так не лютовали... Ну, погоди, ирод,— яростно шепчет,— проклянёт тебя ужо Господь! Скоро, скоро в аду сатанинском корчиться будешь!

Полосанул кистью сильно в последний раз, как черту под приговором поставил, и отошёл в сторону. А из купола на Егория такие страшные глаза, чёрные и яростные, глянули, что отпрянул он в смятении.

«Если на меня Господь так глядит,— крестится,— то царю-душегубу лучше и не входить сюда. Испепелит!»

Всё жаркое лето расписывали мастера высокие прохладные стены, крутые своды, арки и паруса храма.

На тех стенах, где однажды ночью Никодим одному ему видимые фрески свечой знаменил, появились тихие, задумчивые ангелы в голубых, розовых и нежно-сиреневых одеждах. И стояли они не поодиночке, а среди простых смертных, которые под их защитой мирно пахали, сеяли, жали.

А на самой большой стене, против алтаря, где Никодим свечой ночью кого-то неистово разил, запылал багряным огнём Страшный суд.

Жутко было стоять перед этой стеной. Мороз по коже продирал, видя, как летят проклятые Христом грешники в бушующее, злое пламя, как гудит оно и рвётся наружу из бездонного ада, где чёрные, оскаленные черти тащат железными крючьями орущих от страха и боли грешников к самому сатане. А сатана с красными звериными глазами хватает их острыми, кривыми когтями и бросает в свою зубастую, ненасытную пасть.

Однажды зашёл в храм тот самый офеня, что Егория в Москву привёл.

— Ухожу,— говорит,— от беды на север. Опять степняки с Крыма к Москве прут. Били их, били, да, видать, им ещё охота.

А когда попрощался и к дверям пошёл, упёрся в Страшный суд, тут и рухнул на колени.

— Господи,— кричит,— не губи! Грешен я, каюсь, грешен! — Так на четвереньках, головы не поднимая, и выполз из храма.

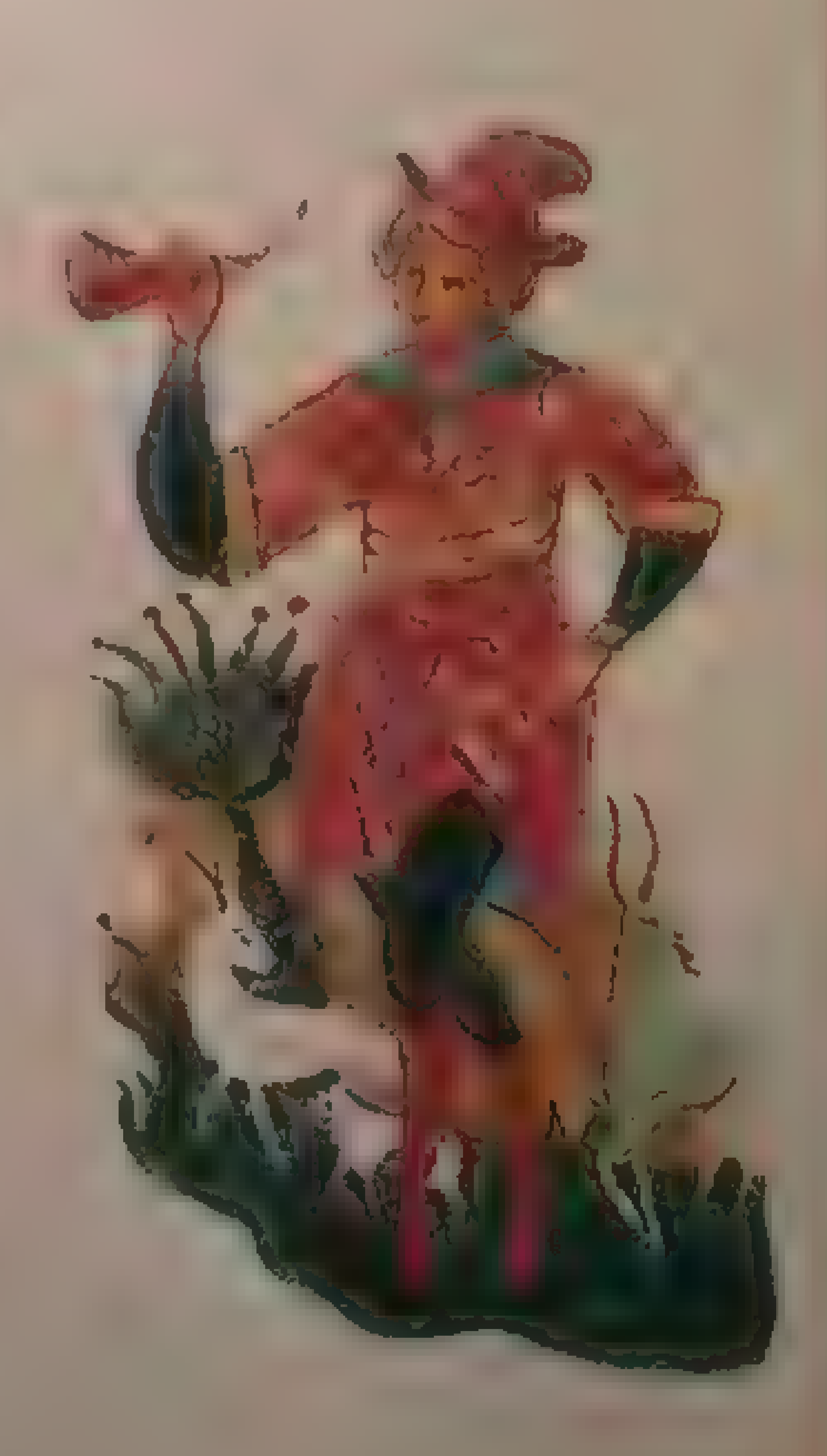
— Вот что, мастера,— хмуро говорит Никодим,— давайте скорее работу заканчивать. Не ровён час, явятся басурманы поганые, не кисти нам тогда держать, а острые топоры.

А работы всего осталось — нимбы позолотить и надписи кое-где начертать.

— Егорий,— кричит с лесов Никодим,— нагрей олифы да с охрой смешай! Золото будем класть!

А позолоту из золотых червонцев выбивали, до ста тончайших листиков из одного получалось.

До вечера вся артель по горячей олифе нимбы золотила. Словно сотни золотых солнышек со стен засверкали! На славу храм удался, на века. Торжественный, величавый, но не как гордый князь, к которому и подойти-то страшно, а как русская, ко всем добрая природа. И успокоит она, и каждого чему-то светлому и важному научит.



— Вот и сумерек к нам в гости пожаловал,— устало говорит Никодим,— кончайте работу, слезайте вниз.

— А сам чего ж? — спрашивает Лука.

— Хочу напоследок на всю работу из-под купола глянуть.

Только Никодим наверх забрался, отворяется неслышно дверь, и проскальзывает в неё государев дьяк Евсей Деев в чёрной рясе.

— А вот и ночка тёмная явилась,— цедит сквозь зубы Лука.— Сейчас начнёт, сыч, своим кривым носом крамолу вынюхивать.

А дьяк, ни слова не говоря, словно и нет здесь никого, стал быстро, по-воровски всё цепко оглядывать, глазками своими острыми, как шилами, росписи до кирпича прокалывать. От стенки к стенке, как пёс по следу мечется, вскрикивает, крестится.

— Ай, не ладное творите, ай, не ладное! — причитает.— Вот где оно, гнездовье еретиковое! Видать, сам сатана вашими кистями водил!

— Да ты что, дьяк, ополоумел?! — крикнул сверху Никодим, да так грозно, что тот голову в плечи с перепугу втянул.— Ты где это крамолу здесь узрел?! Протри очи-то, видать, рябит в них от доносов!

— Вижу, вижу, крамолу! — взвизгнул дьяк и принялся неистово острым пальцем в стены тыкать.— Вот она! Вот она! И вот она!! Святые рядом с мирскими стоят, будто с равными, а те не молитву, а грязную работу перед ними творят. А вот, вот, руки у бабы жнущей по локоть закатаны! Срам, срам! Не по-церковному пишете, не по канону!



— Ишь ты, скромница какая, бабьих локтей застыдился! — гремит сверху Никодим.— От таких вот «канонщиков» учитель мой Дионисий на север, в Ферапонтов монастырь, ушёл, чтоб не вязали вы ему рук своими запретами!

А дьяк, как глухарь, ничего не слышит и пуще прежнего беснуется:

— Креста на вас нет, семя сатанинское! Всё, всё нынче митрополиту донесу!

И тут вдруг обернулся и Страшный суд увидел. Как от гремучей змеи назад отпрыгнул! Глаза шарами из орбит вылезли, руками машет, щербатый рот беззвучно разевает, а слова в глотке застряли.



— Кого, кого ты, смерд, в сатанинскую пасть вверг?! — хрипит.— Самого царя! Царя самого!!! Измена!

Пригляделся Егорий — и впрямь извивается червём в страшных муках в зубах у сатаны сам царь, только голый, сразу не признаешь.

А дьяк подскочил к столу, где кисти лежали, схватил самую большую, сунул в горшок с чёрной сажей и с этой кистью в поднятой руке, как с саблей, бросился к Страшному суду.

Вот уж два шага до стены осталось, уж чёрной кистью на неё замахнулся!

— Стой!!! — грянул сверху яростный крик.— Не смей!! — И в тот же миг под куполом что-то затрещало, вниз полетели обломки досок, а вслед за ними на каменный пол рухнул Никодим.

Всё произошло так быстро, что Егорий, схвативший дьяка за руку, не понял, что случилось. И только, когда увидел текущую изо рта Никодима кровь и его недоуменные, беспомощные глаза, понял, какая стряслась беда.

— Успел долететь-то? — шепчет помертвевшими губами Никодим.— Цела стена?

— Цела, цела, отец Никодим,— срывающимся голосом отвечает Егорий и поднять его хочет.

— Ой, не тронь, сынок! — вскрикнул от боли Никодим.— Здесь оставьте. Маленько осталось...

— Да как же ты так, отец Никодим? — бормочет Егорий, а самого слёзы душат.

— На перила навалился, они и оторвались... Видать, Мирон плохо прибил...

— Ну, падаль,— вскочил с колен Егорий,— где он? — И хвать за горло белого от страха Мирона.

— Пусти!! — хрипит Мирон.— Помираю!

 — Брось его,— шепчет Никодим,— ему и так

худо... Раз мастером не стал, так уж и человеком не станет... А дьяк-то где?

— Утёк,— отвечает Лука.— Видать, к митрополиту побёг нашёптывать.

— Ну и хорошо... Не дал меня Господь на царскую плаху положить... С головой пред ним нынче предстану... А вы, мастера, по мне не скорбите... Не каждому дано в храме помереть... Простите, если кого обидел...

Понурились мастера, рукавами слёзы смахивают.

— Пригнитесь-ка,— еле слышно позвал Никодим,— последний наказ вам дам... Если кто из вас талант свой, Богом данный, укроет и других не наставит, будет он осуждён на вечную муку... А ты, Егорий...— И вдруг вздрогнул всем телом и затих.

На следующий день после скромного отпевания артель тихо похоронила своего старого мастера в маленьком, узком гробу во дворе его последнего храма, и молча разошлись кто куда, подальше от царёвой милости.





ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Только месяц светлый на небе таять начал, как Егорий из Москвы вышел. На плечах одежонка нежаркая, кушаком подпоясанная, в руках палка от собак да разбойных людей, а за плечами котомка холщовая. В ней два сахарных петушка в белую тряпицу завёрнуты для Дашутки с Анюткой и красный коник – для Ванечки. Непременно сынок без него родиться должен! Тут же платок неяркий для бабушки Акулины, а в платке лежит колечко сереб-

ряное с красным, как уголёк, камешком для Марьюшки. Себе же десяток кистей отца Никодима на память взял. Вот и всё добро.

Служил три лета, а заслужил три репы, как дед Афанасий, бывало, говаривал. А всё же большое богатство нёс Егорий. Новому ремеслу руки выучились, глаза стали острей и памятливей, а в сердце смелости и веры в себя прибавилось. Кажется, всё, что ни задумает, сделать может.

Ах, какой простор вокруг! В Москве-то глаза всё время во что-нибудь упирались: то в стены каменные, то в частоколы острые, то в боярские спины, то в нищих калек. А здесь, на воле, глаза аж за горизонт заглядывают!

Торопко идёт Егорий. К севу не поспел, так хоть к жатве успеть. Иногда и ночами шёл. В одну из ночей приключилась с ним напасть. Побили его крепко. Ладно бы мужики, а то, срам сказать, бабы!

А дело было так.

Подходит он в тёплую, лунную ночь к какой-то деревушке. Тишина такая, что собаки со скуки на луну воют. И вдруг что-то как грохнет, как завоет, как заголосит!

«Что такое? — встревожился Егорий.— Ведьмы, что ли, шабаш справляют?»

Глядь, а из-за крайней избы толпа баб выходит. Белеют в темноте исподними рубахами, все босые, и волосы распущены. Впереди молодая девка икону несёт, за ней баба на помеле скачет, а позади ещё человек двадцать. Кричат, стучат что есть мочи чугунками, заслонками, серпами, косами и ухватами! А позади всех голая старуха тяжёлую соху надрываясь тащит и той сохой землю бороздит.

«Чего это они удумали, бесстыжие?» — нахмурился Егорий.

Тут его бабы и приметили. Как взвоют все разом:

— Вот она, «коровья смерть»!! Бей её, бабы, убивай насмерть, чтоб не морила нашу скотину!!

И давай бедного Егория потчевать кто ухватом, кто камнями, кто его же палкой, а самые злые волосы с головы рвут!

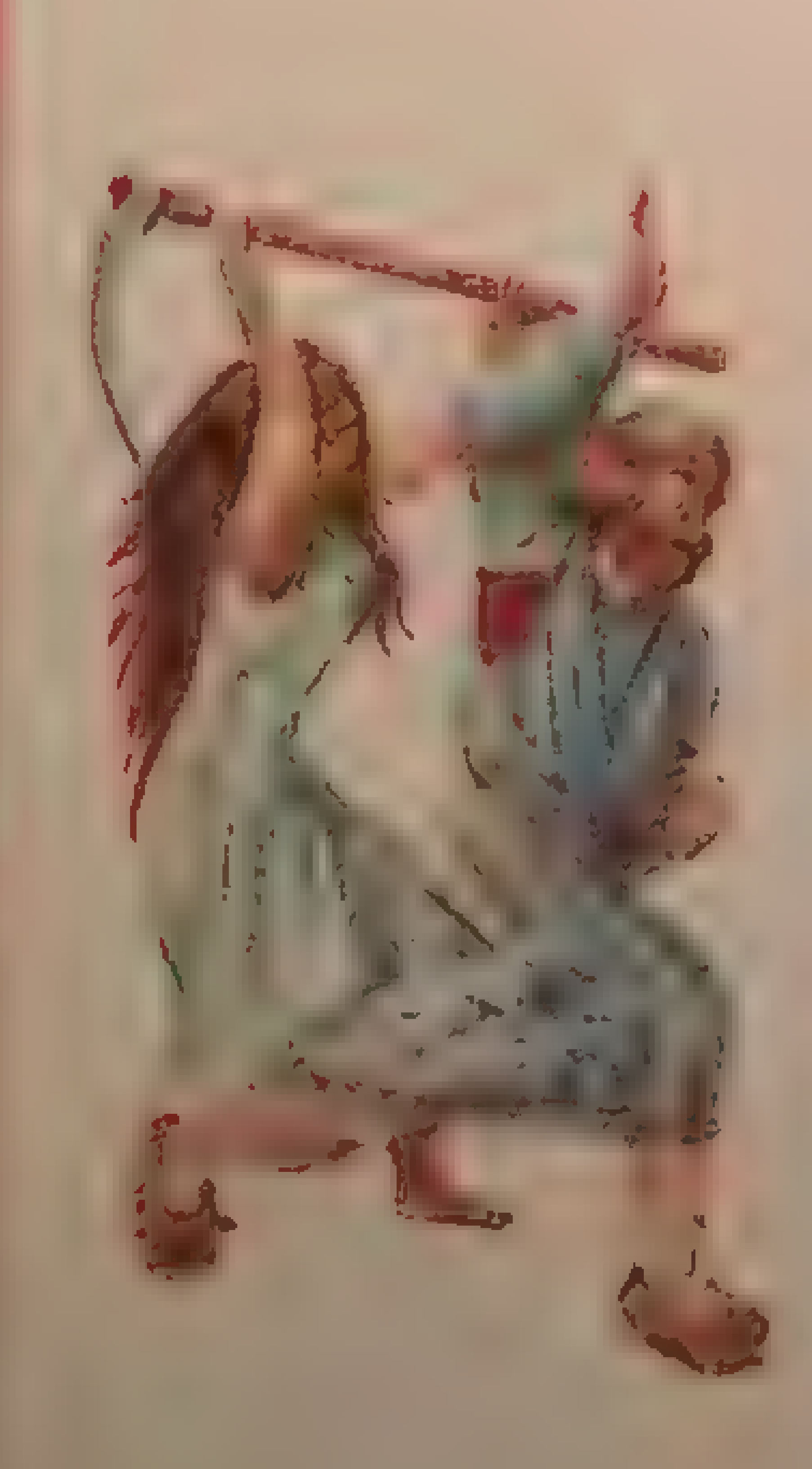
— Да вы что, бабы! Ополоумели, что ли?! Какая я вам «коровья смерть»?! — вырывается Егорий.— А ну, расступись!

Голову котомкой, как шлемом, накрыл и давай сквозь толпу продираться, одной рукой баб по сторонам раскидывать. Насилу вырвался и бегом! А что делать-то? Баба и бес — один в них вес. Прибьют ещё ни за что.

А бабы позади победную песню затянули:

Запахали мы смерть, запахали.
Запахали мы, подружки, запахали!
Запахали мы смерть лошадиную, коровью,
Овечью, свиную, куриную!

И пошли опять вокруг деревни с криками, лязгом и грохотом.



Три раза бабы деревню обошли, три раза опахали. Не пройдёт теперь «коровья смерть».

Мужики-то деревенские, видать, наперёд знали про опахивание, поэтому по избам сидели от греха подальше. Знали: кого в это время бабы встретят — за «коровью смерть» принимают и бьют нещадно.

А Егорий про этот обычай не знал. Вот и лежит теперь в стогу у леса, подорожник к заплывшему глазу приложил, шишки на голове потирает.

Опять тишина и покой вокруг.

Лежит Егорий, голову наружу выставил, звёздами любуется. Всё небо ими сверкает, будто драгоценные камни к чёрному пологу пришиты.

«И откуда они берутся? Неужто правду говорят, что Бог старый месяц на звёзды крошит?»



Вот одна вдруг сорвалась с места, белым хвостом чёрное небо неслышно черканула и исчезла. Сказывала бабушка Акулина, что хвостатая звезда – к войне.

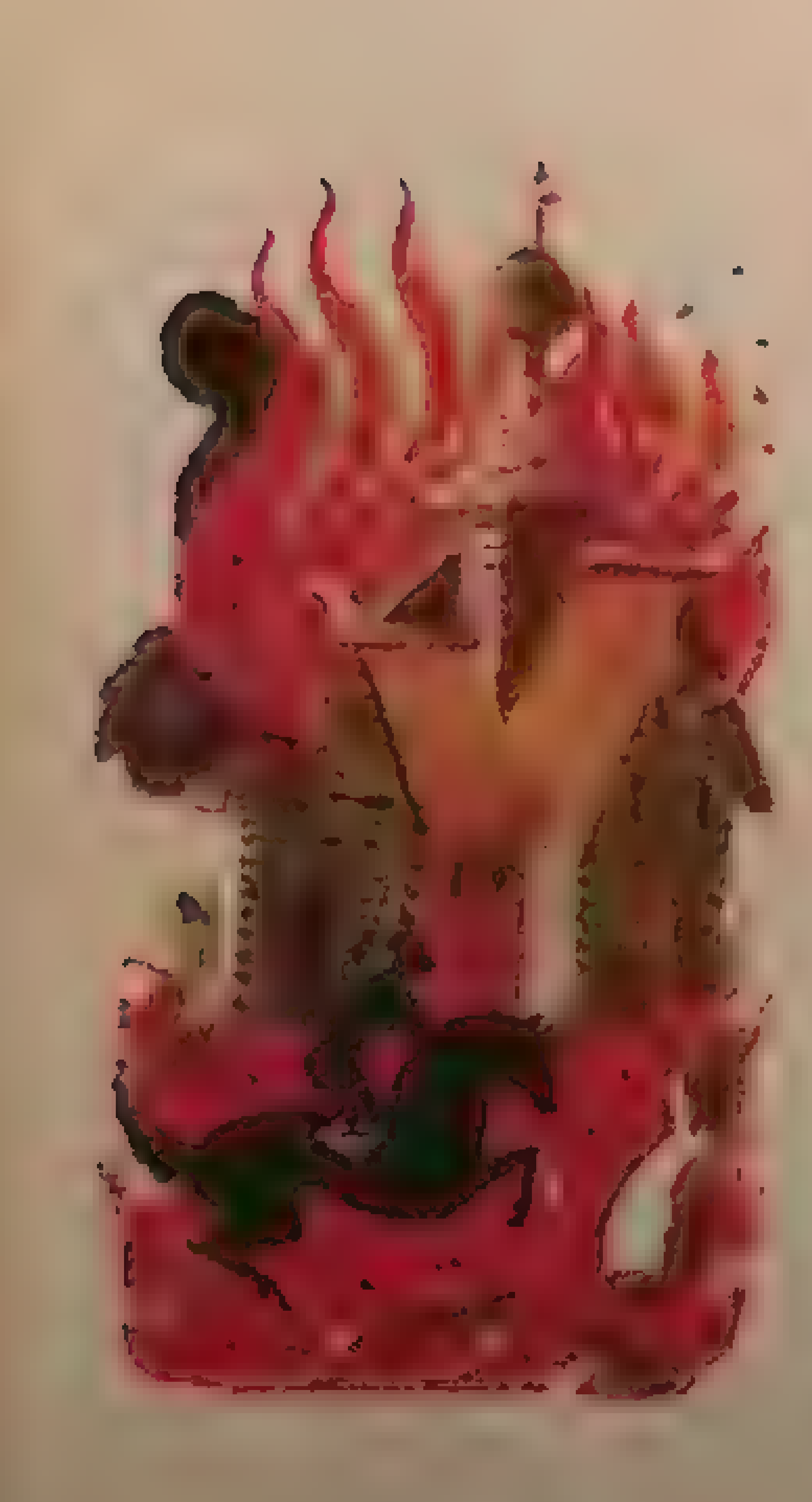
«Гляди-ка, не врёт примета,– улыбается Егорий,– вон как бабы-то со мной бились!»

Лежал он лежал на тёплом, душистом сене да и заснул. А рано утром, когда роса выпала и туман от солнышка в овраг уполз, от тревожного шума проснулся.

«Неужто бабы всё с «коровьей смертью» воюют?»

Глянул в сторону деревни, а там избы горят! Егорий со всех ног через поле на помощь, а как до первой избы добежал, понял, что не от лучины пожар полыхает, а от факелов, что в руках у всадников! Носятся они с гортанными криками на лошадях, будто дикие волки в стаде овечьем, и рубят саблями кривыми всех, кто из домов выскакивает.

Вскипела у Егория кровь. «Ах, зверюги проклятые! Попомню я вам сейчас отца с матерью!» Метнулся дикой кошкой на спину коня, что мимо него нёсся, схватил на скаку вилы возле избы, одного нагнал и проткнул его насквозь, как поганую крысу.



– Эй, мужики,– кричит,– чего смотрите?! Хватай топоры! Руби их, окаянных!!

Мужики увидели, какой ратник за них бьётся, осмелели и давай кто косами, кто оглоблями всадников с коней сшибать! Так разошлись, что половину перебили, а остальные стеганули коней и помчались прочь из деревни.

А Егорий с двумя деревенскими парнями в запале схватки – за ними. И вдруг у самого лесочка конники бросились врассыпную и взяли Егория с товарищами в кольцо.

– Что, урус! Перехитрили мы тебя? – гогочет вожак, а остальные медленно подъезжают и прямо в

грудь из тугих луков целятся.— Читай молитву своему богу! Скоро квас с ним пить будешь!

Зло Егория разобрало.

— А сам не хочешь ли почитать, чего у меня на голицах написано? Рано, пёс, скалишься! На всякую гадину найдётся рогатина! — Да как метнёт вилы! Жаль, промахнулся, только шапку с лисьим хвостом с его бритой башки сшиб.



Оскалился злобно вожак:

— Ха, урус! Смелый медведь!

Что-то на своём языке каркнул, и тотчас на Егория и его товарищей со всех сторон арканы со свистом полетели. Сдёрнули их с сёдел на землю и с гиканьем поволокли за собой по колючим кустам, по острым камням, за тёмный лес, в плен.

Вёрст пять протащили взмыленные кони окровавленных пленников, пока не прискакали к вражескому стойбищу. Сняли с них арканы и бросили на землю, где уже человек 70 пленных из других деревень лежало. Огляделся Егорий и ужаснулся.

Черным-черна степь от воинственной орды, будто саранчой земля усыпана. Тысячи костров горят, тысячи крытых повозок с награбленным добром, стада испуганных коров и овец ножа ждут. Разбоем волчья стая кормится, всё на своём пути смерти предаёт. Не соврал офеня — к Москве беда летит.

Весь знойный день и всю ночь пролежал посреди степи Егорий. Рубаха от крови заскорузла и к ранам присохла, боль такая, что перед глазами красные круги вертятся. И рядом мужики тоже, кто зубами от боли скрежещет, а кто ругается от злости.

— Ничего, мужики, крепись. И в аду люди живут,— подбадривает их Егорий, а сам еле спёкшимися губами шевелит.

Вдруг подлетает к ним на полном скаку тот вожак, что Егория в плен взял, и кричит свирепо:

— Эй, шакалы! Кто хочет служить нашему повелителю, айда за мной, а кто не хочет, тому глупая башка отрежем и на палку сушить наденем!

Насупились мужики, молчат. Помрут, а не встанут. И тут подымается Егорий и говорит:

— Веди меня к своему повелителю. Я ему служить буду.

Ахнули мужики, а вожак глянул на него с презрением и увёл за собой.

Когда по лагерю шли, Егорий внимательно по сторонам поглядывал, всё примечал, а как к богатому, пёстрому шатру приблизились, придумал уже, как из беды выпутаться.

В шатре, на дорогом персидском ковре, сам «повелитель вселенной» на корточках сидел и баранью ногу обгладывал. Заплыл весь от жира, аж лоснится, морда красная, хоть лапти суши.

— Ну, храбрый урус, будешь за меня воевать?

— Вот заживут раны, тогда поглядим.

— Зачем пришёл тогда?! Быстрей всех умереть хочешь?

— Потому и пришёл, что умереть не хочу. Если в живых оставишь, такой подарок тебе сделаю, какого ни у одного владыки нет.

Загоготал хан, затряс жирным животом.

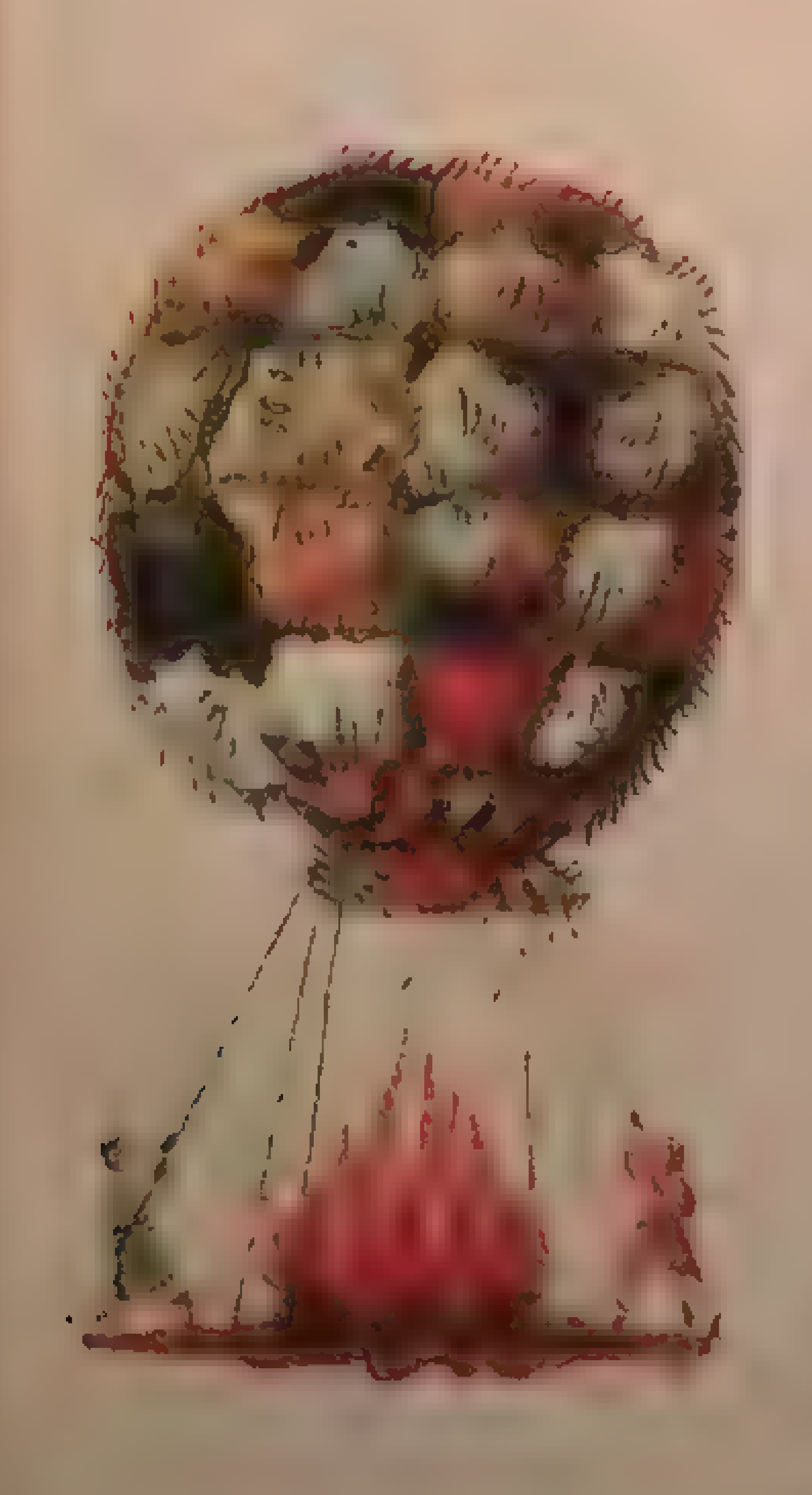
— Что у тебя есть, коровья лепёшка? — визжит.— Может, свою бороду подаришь? А так у меня всё есть!

— А не хочешь ли ты, как птица, увидеть с неба все свои владенья?

— Пять лун тому назад я приказал своим воинам пасть на землю и сделать гору из своих тел. Я въехал на коне на живую гору и достал головой небо. Но и тогда не увидел всех своих земель!

— Я подниму тебя ещё выше, до самых звёзд.

— Как, баранья башка?



— Прикажи дать мне тысячу овечьих шкур. Я со своими товарищами сошью из них великий шар, наполню над костром горячим воздухом, и он поднимет тебя так высоко, как не поднимался никто из смертных.

— Ха, урус! Твоя глупая башка хорошо придумала! Я дам тебе шкуры. Но если через семь солнц ты не поднимешь меня в небо, ты сам туда полетишь чёрным дымом. Я сожгу тебя и твоих урусов.

Поклонился Егорий ему до земли и пошёл от шатра. «Чтоб тебя чёрт с квасом съел! — плюнул в сердцах.— Ишь какая птичка косопузая выискалась».

Через свист, гогот и жестокие удары плётками, стиснув зубы, к своим пробрался. Слышит, как кто-то из них цедит со злобой:

— Что, иуда, продался за кусок лепёшки? Жалко, руки связаны, да я тебя всё одно ночью зубами загрызу!

— Лежи, дурак, помалкивай,— спокойно отвечает Егорий.— Слушайте, мужики,— зашептал, чтоб охрана не услышала,— надумал я одну хитрость. Если получится — быть нам свободными. Только не спрашивайте ни о чём, а делайте, как скажу.

Помолчали мужики, подумали, а тот, что вместе с Егорием в плен попал, говорит:

— Я его в бою видел. Не подведёт. Сказывай, что делать надо?



Наутро, как только солнышко из-за края земли несмело выглянуло, к тому месту, где пленники лежали, притащили всадники целую гору бараньих и овечьих шкур.

— Ну, братья, за работу,— говорит Егорий,— семь дней у нас всего. Берите острые кости вместо шила да жилы вместо дратвы и сшивайте меж собой шкуры по пять в ширину и сто штук в длину, чтоб вроде ковра длинного получилось.

Охрана пленникам верёвки на руках перерезала, и принялись мужики шкуры тачать. Всё лучше, чем без дела томиться. А Егорий зачем-то белый коровий скелет шкурами обтягивает.

Шесть дней в трудах пролетело. Десять человек от ран умерло, а те, кто жив, из последних сил всё шьют и шьют.

Под вечер сам «повелитель вселенной» на пятнистом жеребце с охраной прискакал.

— Эй, урус! Готова твоя работа?

— Завтра, как уговорились, закончим,— отвечает Егорий.

— Ну, смотри, рыжая борода! Костёр у меня уже готов,— стеганул коня и умчался в степь.

Вот уже первая звёздочка на небе робко мигнула, за ней другая. Последняя ночь наступила.

— Всё,— говорит Егорий,— кончай шить. Собирайте теперь вокруг черепа и кости бараньи и к шкурам привязывайте.

— А это «добро» зачем? — спрашивают мужики.

— Потерпите маленько, скоро узнаете.



Стали собирать черепа да кости по степи. Их тут как камней в горах валялось — любило поесть кочевое войско. А сам Егорий незаметно к повозке ихнего лекаря подкрался и вытащил оттуда мешочек серы и разных трав сушёных. Потом большой медный кувшин воды на костре вскипятил и бросил туда все травы да ещё степного дурмана пучок добавил. Из кувшина такой пряный дух по степи повалил, что кони стали всхрапывать, а стражники повскакали, кричат возбуждённо:

— Эй, урус! Брага варишь?

— Да нет,— отвечает Егорий,— узвар крепкий. Мужиков погреть.

— Дай сюда! Сами замёрзли. Мужики завтра на костре погреются.

Вырвали у него кувшин и вылакали всё до дна. Тут и ударил им дурман в голову. Выронили пики и повалились наземь без памяти.

Вскочил Егорий на ноги, глаза горят.

— Ну, братья, пора! Лови их лошадей и станови по два в ряд друг за дружкой. Теперь бараний ковёр берите и коней покрывайте. Да кверху, кверху мехом-то!

— Да что ж это будет, Егорий, скажи толком?

— А будет это лютый Змей Горыныч. Он-то нас и спасёт.

Глянули мужики, и впрямь кони под мохнатой, до земли, пятнистой попоной на огромную, стоногую змею похожи!

— Вот страсть-то! — крестятся.— А башка-то где?

Раскидал Егорий кучу сухой травы, а под ней страхолюдная драконья башка лежит с оскаленной пастью. Мужики с перепугу шарахнулись. Потом пригляделись, а это не страшные зубы из пасти торчат, а рёбра коровьего скелета, что Егорий шкурами обтягивал.

— Поднимай башку, не бойся,— поторапливает Егорий,— на первую пару лошадей привязывайте. Потом сами под шкуры полезайте и, как свистну, стегайте коней что есть мочи и орите так, чтоб чертям тошно было.



Когда мужики проворно под шкуры влезли и вцепились в конские гривы, Егорий запалил в костре факел и в змееву голову влез.

— Ну, братья, не отставай!! — Да как свистнет Соловьём-разбойником — конь на дыбки взвился!

Тут мужики лошадей стеганули, взвыли зверями дикими — самих мороз по коже со страха продрал.

И понеслись все разом!

Вражье войско пробудилось от шума, глаза в темноту пялят, не поймут, что стряслось. Гудит,

дрожит земля от топота, всё ближе, ближе, и вдруг полыхнуло впереди пламя, и вмиг озарился страшный, огнедышащий дракон. Огромный, мохнатый и прямо на них несётся! Из зубастой пасти огонь и жёлтый дым валит, из глаз красные искры сыплются, по бокам черепа и белые кости гремят, а сам ревёт так жутко, что кровь в жилах стынет.

Что тут началось! Лошади взбесились и с диким ржаньем понеслись лавиной по лагерю. Давят людей копытами, а те орут от ужаса, мечутся по степи как безумные, и нет им нигде спасения.

— Гони! Гони-и-и! — яростно кричит Егорий, а сам серу на факел подсыпает. Вот от чего огонь, искры и жёлтый дым из драконьей пасти летит!

Промчался огнедышащий змей по поваленным шатрам, по растоптанным врагам и улетел с воем в ночь.

Всё тише и тише бегут взмыленные лошади, наконец совсем стали. Попадали на землю из-под шкур мокрые от духоты мужики. Хохочут, обнимаются от радости, а иные даже плачут.

— А Егорий где же?

Подбежали, драконью башку наземь свалили, а там Егорий сгорбившись сидит, руками голову обхватил.

— Ты чего это, Егорий? — затревожились мужики.— Чего стряслось-то?

Отвели его руки от лица и ужаснулись. Всё лицо у него обгорело, а глаз и вовсе не видать.

— Ах мать честная! — крестятся мужики.— Горе-то какое! Видать, сера в глаза пыхнула. Как же ты теперь без глаз-то?

— Не знаю...— глухо говорит Егорий,— езжайте по домам. Не ровён час, погоня нагрянет.

— А ты как же теперь свой дом сыщешь? Не по-людски это — тебя в таком виде одного бросать.



Но как его ни уговаривали с провожатым ехать, не согласился. Ну, делать нечего, поклонились мужики своему спасителю низко, до самой земли, поблагодарили, а в лицо стараются не смотреть, сердце заходится, и ускакали в разные стороны.

Егорий тихонько поводья тронул, едет сгорбившись, сам не знает куда, от нестерпимой боли стонет, в седле качается.

«Нет,— думает горестно,— нельзя мне домой ехать, нахлебником на печи сидеть. Не дай Бог, Марьюшка с детьми увидят такую образину — напугаются до смерти. Чем небо зря коптить, лучше медведю или волкам поддаться. Хоть какая-то польза им от меня будет».

Заржала тихонько лошадь и остановилась. Прислушался Егорий — вроде река рядом течёт, прохладой веет. Слез на землю, шлёпнул лошадь по спине.

— Ну, пошла, пошла, милая, а то и тебя звери задерут.— Упал лицом в мокрую траву и затих...

А в это время Марьюшка места себе не находит, мечется по избе, как птица в клети, ни прясть, ни спать не может. Чует её сердце — беда с Егорием стряслась, и тянет, тянет её неведомая сила вон из избы. Выскочила она в ночь за ворота, а ноги прямо к реке несут. Прибежала запыхавшись на берег, сердце из груди чуть не выпрыгивает. Огляделась тревожно по сторонам и видит: стоит в тумане на том берегу чёрная лошадь. Посмотрела она на Марьюшку и заржала тихонько. Потом головой стала кланяться, будто зовёт её.



Покатилось у Марьюшки сердце: ой, не к добру лошадь её кличет! Сама не зная зачем, в туманную реку вошла и поплыла на тот берег и только из воды вышла, тут и наткнулась на своего Егория. Надо же такому случиться — к родной речке лошадь его привезла.

Вскрикнула Марьюшка и на колени перед мужем упала.

— Кто здесь? — поднял лицо из травы Егорий.

В ужасе отпрянула Марьюшка, зажала обеими руками рот, чтоб не вырвался страшный крик.

— Я это, я, — шепчет, а саму слёзы душат, и ничего больше вымолвить не может.

Отвернулся Егорий.

— Брось, — говорит, — меня. Уходи. Зачем я тебе такой?

У Марьюшки все слёзы в момент высохли.

— Ты чего это говоришь такое? Кому ж ты ещё нужен, как не мне? Ишь чего удумал! Да мы тебя с бабушкой Акулиной к весне вылечим. Она заговоры волшебные знает и травы тайные. Глаза бы целы остались, а красота — Бог с ней. Девки меньше на тебя заглядываться будут, а я тебя такого ещё больше люблю... Ну, подымайся. Давай я тебя на лошадку подсажу. Но! Трогай, милая!

— Да она по-русски не понимает.

— По-русски, может, и не понимает, зато думает по-человечьи. Это ведь она тебя найти помогла. — Обняла лошадь за шею и поцеловала её в добрую морду.



Уже светать начало, когда они реку переплыли и к своим Дворикам пошли. От мокрой лошади пар валит, вздрагивает всем телом от холода, а Марьюшка сбоку идёт. Вода с платья ручьём льётся, а она ничего не замечает. Прижалась к мужниной ноге и смотрит на него, сгорбленного, а в глазах такой свет и счастье светятся, какого даже в невестах не было...

*

Что зорька ясная, что день светел — всё для Егория ночь тёмная, непроглядная. Уж второй месяц

сиднем на лавке за печкой сидит. Руки без дела, как крылья перебитые, на коленях лежат, голову повесил, птицей нахохлился, молчит, думы тяжёлые, как камни, ворочает.

Да... Ржа железо ест, а печаль сердце гложет.

Тихо стало в избе, невесело. Бывало, вечером станет Марьюшка рассказывать, как она днём с дочками сено в стога метала, а из травы вдруг заяц косой, как чертёнок серый, выскочил и напугал их до смерти! Дашка бежать пустилась, Анька со страху присела и голову подолом накрыла, а Марьюшка в сторону отпрыгнула да на грабли наступила. Грабли-то её вдоль спины и приласкали!

Все хохочут, а Егорий и не улыбнётся. Сидит, словно каменный. А Марьюшка дальше что-нибудь весёлое рассказывает, потом в сени выскочит, наревётся там, но только не слышно, чтоб Егорий не знал, и вернётся как ни в чём не бывало.

А бабушка Акулина слезам волю не давала, некогда было. Каждый день за травами в лес ходила и этими травами пахучими и заговорами волшебными Егория лечила.

Рано на зорьке, чтоб никто не видел и не сглазил, на речку сходит и студёной водицы принесёт. Водицу эту в деревянный ковш выльет и начинает шептать: «От восточной стороны выкатилась туча грозная. Из этой тучи грозной вылетала грозная стрела огненная. Отстреляла и отшибала у раба божия Егория ломоту, родимец с белого лица, с ретивого сердца, с ясных очей, с чёрных бровей, из горячей крови, из чёрной печени. Эти слова вострей копья и вострей острого ножа, ключ в море, замок в поле. Моим словам — аминь!»

Потом ножом крест на дне ковша начертит, а воду в лицо Егория плеснёт.

— Фу-ты, бабушка! — вздрогнет Егорий.— Опять

ты за своё. Без толку это. Быть мне слепому на веки веков.

— Ну нет, внучек! Я от тебя, как репей от козы, не отстану. Колотись, бейся, а всё надейся! С лица-то уж почти все рубцы сошли, скоро всё своими глазами увидишь, коли мне не веришь.

И руками своими сухонькими, тёмными от крестьянской работы, какие-то листья влажные и травы горькие к глазам его приложит и белой тряпицей повяжет осторожно.

И так каждый день неустанно отсылала Акулина хворобы Егория на острые ножи, в пуп морской, к золотой щуке, что в позлащённом камне сидит, в тёмные леса к гнилой колоде, возле которой для хвороб и питьё, и кушанье приготовлено. Верила: непременно Егорий поправится — и этой верой чёрные мысли его разгоняла.

Однажды осенью, когда серое небо принялось слезами унылыми землю мочить, остался Егорий в избе один с Ваняткой. Народился-таки у него мальчонка, как он и ждал. Сидит Егорий, по своему обыкновению, на лавке, молчит, а Ванятка по полу ползает и кота Терентия ловит. А кот никак не даётся, ускользает из маленьких ручонок. Кому же охота, чтоб его за хвост таскали? Сел Ванятка посреди избы и давай реветь с горя!

— Ну, чего ревёшь, горе луковое? — говорит Егорий.— Ползи ко мне. Глянь-ка, чего у меня есть.— А сам по столу рукой шарит, ложку или ещё чего-нибудь вместо игрушки нащупывает. А на столе, кроме хлеба ржаного под полотенцем, и нет ничего. Отщипнул кусочек мягкого мякиша, не угрызёт ведь ещё корку-то беззубый Ванятка.— На-ка вот, рёва, пожуй хлебца.

А рёва ещё пуще залился: «Дай кису!» — и всё тут.



— А погляди-ка, какой воробышек ко мне прилетел,— говорит Егорий и из мякиша на ощупь птичку с коротким носиком и толстым хвостиком вылепил.

Замолчал Ванятка, с сопением отцу на колени влез и глазёнки на воробышка таращит.

— А вот и яички воробышек снёс,— и Егорий пять хлебных шариков скатал,— а из яичек-то, глянь, маленькие воробьята вылупились.

И впрямь, сидят уже вместо яичек вокруг матери чёрненькие, кургузенькие птенчики и помалкивают. И Ванятка тоже притих.

И Егорий по столу хлебную колбаску раскатывает.

— А вот мамка своим деткам червяка длинного притащила, сейчас есть будут.

— А лоска?

— Будут и ложки, и стол слепим с лавками.

И так они заигрались, что, когда бабушка с внучками с огорода вернулись, воробьиная семья уже посудой и вещами обзавелась. Сидят они дружно по лавкам за ржаным столом, а на столе хлебные огурцы, яблоки и даже калачи витые лежат.

— Ай да Егорий! — всплеснула руками бабушка.— Неужто сам такое веселье наделал? Да как же ты, не глядя-то?

— Да вот как-то само из-под пальцев выходит,— смутился Егорий,— прости, бабушка, что столько хлеба зря перевёл.

— Да что ты, родимый! Я ещё спеку, да и это ведь не выбросим.

А Дашка с Анькой надулись.

— Мы,— говорят,— целый день огород копали, а нам ничего тятька не слепил, а только Ваньке этому голозадому.

— А вы бы, кумушки, чем дуться, как мышь на

крупу, лучше бы в овраг сбегали да принесли отцу глины. Он бы и вам чего-нибудь слепил.

— Да что ты такое удумала, бабушка! — рассердился Егорий.— Мужицкое ли это дело — глину мять?

— Э, внучек! Худое ремесло лучше хорошего воровства. Лепи, а то руки без работы отсохнут.

Тем временем сбегала Анька к речке за чёрной глиной, а Дашка из оврага красной глины притащила. До утра в мокрую тряпку завернули, чтоб не засохло, а утром поставили перед отцом старую лавку и глину на неё положили.

— По левую руку у тебя, тятя, красная глина будет, а по правую чёрная и миска с водой для рук. Не опрокинь! — говорит Анюта.— Мне к вечеру красную живулю[1] слепи, а косы чтоб чёрные.

— А мне,— торопится Даша,— тоже живулю и бурёнку с лошадкой.

— Хотю кису,— гудит Ванька.

— Ну, внучек, не отвертишься теперь,— улыбается бабушка Акулина,— садись за работу, исполняй заказы.

И ушли все на огород.

Взял Егорий на ощупь ком красной глины, помял задумчиво. Тёплая она, тяжёлая и без запаха.

— Ну что ж,— говорит со вздохом,— живулю так живулю. Садись рядом, Ванятка, помогать будешь, а то я сослепу ей руки не к тому месту приделаю.

Сидит Ванятка на лавке, к отцу прижался, аж не дышит. Прямо на глазах у него баба глиняная из-под отцовых пальцев появляется!

— Сейчас мы на эту толстую купчиху широкую юбку наденем,— рассказывает Егорий и широкой

---

[1] Живу́ля — кукла.

глиняной полосой обернул бабу вокруг колоколом,— а на юбке оборки наведём.

Помял юбку волнами, и в самом деле оборки на ней зашелестели.

— А теперь руки с рукавами прилепим. Работать-то купчиха не любит, стоит руки в боки, покрикивает.

Пальцы в воду обмакнул и всю бабу разгладил. Заблестела баба, загордилась.

— А глазки? — ёрзает от нетерпения Ванятка.

— Поди принеси из веника тоненький прутик и поставь им две точки на купчихиной голове.

Ванятка так и сделал.

— Ну что, глядит купчиха? — грустно спрашивает Егорий.— Эх, кабы мне кто прутиком волшебным глаза раскрыл...

— Хотю кису,— не даёт погоревать Ванятка.

— Ну подай мне тогда чёрной глины.— Скатал толстый огурец.— Вот такой Терентий пузатенький будет. А голову с ушами из красной глины слепим. Ставь ему, Ванятка, глаза. Давай уж и лапы с хвостом тоже красными сделаем, а в хвосте палочкой свисток прокрутим. Как свистнет он в свой свисток, все мыши в лес убегут. Пускай пока Терентий сохнет, а мы с тобой Даше живулю красненькую слепим.



— А мамане?

— Маме чёрную лошадку с длинным хвостом, как у нашей Звёздочки, а на ней мужик бородатый скачет. Потом козу с рогами слепим, бурёнку с колокольчиком, свинью с толстыми поросятками. Пускай лежат, мать сосут и хрюкают.

Так до самого вечера не разгибаясь просидели. А на лавке как на шумном базаре: бородатые мужики, бабы с вёдрами или с детьми на руках, лошади с острыми ушками, коровы бодливые,

собака с кошкой в обнимку, какие-то крылатые звери диковинные, кричат, мычат, толкаются, песни поют — живут, одним словом.

Ох и радости было, когда все с работы домой вернулись!

— Гляньте,— хохочет Марьюшка,— какой козёл весёлый в дуду дудит!

— А бородёнка-то,— всхлипывает Акулина,— ну вылитый дед Афанасий!

Первый раз за всё время Егорий улыбнулся. Никому не сказал, как страшно устал, будто боролся с кем целый день и победил-таки. Лёг на лавку и уснул мёртвым сном, а чему улыбался во сне — никто об этом не знает.

*

Всю зиму студёную Егорий с утра до ночи игрушки лепил. Две кадушки глины перевёл, работой беду свою к земле гнул.

Уж и сесть в избе негде. Все лавки, полки, полати и даже чулан сотни игрушек заселили.

Марьюшка с дочками за зиму выучились красками их расписывать. Сначала робели, конечно, боялись отцову работу испортить, а потом так разошлись, откуда только смелость и умение взялось!



Гусиным пером, а не кистью расписывали, оно к сырой глине не липнет. И красок-то всего три брали: ярко-малиновую, жёлтую, как подсолнушек, и изумрудную, как травка молодая после дождя, а такие игрушки нарядные получались — глаз не отведёшь!

Вечерами, когда холодная луна синим светом снега красила, а злой мороз реку ко дну примораживал, зажигали в избе смоляную лучину. Неярким, тёплым солнышком освещала она этот маленький,

уютный мир, в котором дружно жили люди, задорные глиняные человечки и улыбчивые звери.



Ни одного страшного чудища, ни одной злой игрушки руки не сотворили, одна любота. Да и по всей Руси необъятной, как бы тяжело ни жил русский народ, всегда мастера строили, писали, резали и лепили только доброе и радостное. Насмехался народ над чёрным злом и над самой смертью, потому что смех испокон веков оберегом от всех бед был.

Длинная зима в работе быстро пролетела. Бабушка Акулина уж весну песней заманивает:

Прилетите к нам, жаворонушки!
Принесите нам красно летичко!
Нам зима-то надоела,
Хлеб-соль всю поела!
Хлеба ни крошки,
Дров ни полена,
Горюшка по колено!

Услышала весна, пришла. Верба её первая пушистыми ветками встретила. Храброе деревце, не боится ночного морозца. Все деревенские наломали вербовых веток, похлопывают несильно друг друга и свою скотину по спинам и приговаривают: «Верба красна, бей до слёз, будь здоров!» От весенней вербы здоровье и сила в человека переходила.

Вот уж и Егорьев день после сева наступил. Скотину из тёмных хлевов на травку гнать надо. Ну, бабушка опять «шишек» напекла для бурёнки и Звёздочки, что Егория из плена вывезла. Утром пошептала над ними, по обычаю, и ушли все вместе со скотиной в поле, даже Ванятку взяли.

Остался Егорий один. От двух кадушек только на одного маленького жаворонка, может, глины хватит. Вдруг слышит: стукнула в сенях дверь и кто-то быстро в горницу вошёл.

— Кто здесь? — спрашивает Егорий.— Ты, Марьюшка?

— Нет, я не Марьюшка,— отвечает гость, а голос незнакомый, чистый и сильный.— Что же ты, хозяин, в избе сидишь, когда в поле быть должен?

Побледнел Егорий:

— Отходил я своё, добрый человек. Нечего мне в поле больше делать.

— Да нет,— говорит чужак,— есть у тебя там сегодня дело. Иди за мной!

— Рад бы, да не могу,— глухо говорит Егорий,— слепой я, аль не видишь? Не дойду.

— Я доведу тебя,— говорит гость властно, взял за руку и повёл молча за порог, потом за ворота, за околицу и привёл на широкий луг.

— Вот и пришли,— сказал незнакомец, наклонился к траве, зачерпнул полные пригоршни жемчужной росы и плеснул Егорию в лицо.

Отшатнулся Егорий, будто огнём холодная роса его обожгла, руками за глаза схватился.

— Не бойся,— спокойно говорит человек,—отведи руки. Ну, видишь ли?

Осторожно отвёл Егорий руки, и словно яркая молния перед ним вспыхнула!

— Вижу,— шепчет,— вижу! Ви-жу-у! — И смеётся, и плачет, и дрожит весь от волнения.

Смотрит, а перед ним златокудрый юноша в сверкающих доспехах стоит и на блестящий меч опирается.

— Георгий-воин! Да сплю я или чудо мне явилось?! — пятится Егорий.— За что же свет мне подарил?



— За то, что не сломился. Каждый в жизни через мрак и слепоту проходит, да не всякий прозревает. Вот за победу над собой я тебя и озарил. Теперь прощай!

Заискрился вдруг золотыми искрами всё ярче, ярче и растаял. Только белое облачко полетело над лугом и пропало...

Что это было, чудо ли, сон ли светлый или бабушкины травы Егория исцелили? Никто эту тайну не знает...

*

День за днём, будто дождь сечёт, неделя за неделей — травой растёт, а год за годом, как река, бежит.

Много лет прошло с того чудесного дня, когда Егорий опять свет увидел. Уж и Ванятка улетел из родительского гнезда. В деда пошёл, колокола полюбил и льёт их теперь в Москве такие звонкие, до самых Двориков слава о них докатывается. И дочки замуж повыходили за хороших парней, Егоровых учеников.

Выполнил он наказ Никодима, не утаил своего таланта, всё щедро ученикам роздал. А было их у него столько, что на три артели хватит.

С дальних сёл шли к нему на выучку ясноглазые, любопытные до всего мальчишки. Кто оставался, а кто уходил, поняв, что не его это дело. Таких Егор силком не держал. Не хотел, чтоб в ком-нибудь ещё раз Мирон повторился. Много на земле ремёсел, пускай выбирают только своё, чтобы и себе удовольствие, и людям радость, как Никодим говорил.

Как исстари повелось, все ученики у него в избе одной семьёй жили. И работа, и праздники, и печали — всё общее. Всему сразу учились: мастерству, опыту житейскому и щедрости сердеч-

ной. Ведь злое сердце и мастерство злым сделать может.

Часто вместо учёбы водил Егорий свою шумную артель «природу слушать». Зимой слушали таинственную белую тишину, дивились синим теням на сверкающем снегу, заснеженным веткам, похожим на цветущие вишни.

Весной слушали, как поднимается пар от нагретой земли, как порхают жаворонки над первыми тёмными проталинами, как шумят грачи на чёрных, будто нарисованных на ярком синем небе деревьях.

Летом нежно-голубыми озёрами цветущего льна любовались, босиком в холодной, росистой траве ждали, когда Дева-заря по небу свою розовую фату раскинет. С восторгом и ужасом, как воробьи из-под стрехи, глядели с сеновала, как с грохотом раскалывается пополам грозовое небо, как распарывают его синие молнии и гаснут в мокрых, чёрных тучах. А после ливня, выскочив во двор, в глубокие сизые лужи, замирали, видя, как из середины реки в самое небо вставал широкий радужный мост, пронизанный золотыми солнечными лучами.



А осенью, когда утомлённая земля надевала свой самый яркий наряд и роса на длинных паутинах горела драгоценным жемчугом, как на девичьем кокошнике, притихшие мальчишки понимали, что нет ничего краше родной земли...

Всякое было за эти годы. И голод, и страшный чумной мор, и пожары деревню стороной не обходили, и войны. Много дорогих людей в сырой уж земле лежат, у самого Егория волосы белым инеем запорошило, а не сгибают его беды. Пшеница перемолотая чистым хлебом становится, а человек в печали ум зрелый обретает. В трудное время всегда вспоминал любимую песню бабушки своей Акулины:

За грозной тучей — частые звёзды,
За частыми звёздами — светел месяц,
За светлым месяцем — денная заря,
А за денной зарёй — красное солнце.

Потому не прибавилось у него чёрных да серых красок, а, наоборот, чем дольше жил, тем радостней и ярче они становились. И настал, наконец, день, когда решил он написать то, о чём мечтал всю жизнь.

А мечтал он написать Георгия Победоносца, того, что неустанно со злом бьётся и, как бы велико оно ни было, всегда его одолевает.

Вот такого Георгия и написал на большой доске.

Летит бесстрашный витязь в золотых доспехах на тонконогом коне! Красный плащ на ветру полощется, в золотом щите солнце горит, а под копытами извивается пронзённый тонким копьём чёрный змей.

Вся Русь в нём — прекрасном, златокудром юноше. Это она, в развевающемся на ветру алом плаще, бесстрашно несётся на белом коне времени, разя ползучее и всякое другое зло.

Всё умение, какое Егорий по золотым крупицам всю жизнь собирал, засверкало в Георгии молодой, мощной силой.

— Ну, вот,— шепчет устало в седую бороду,— вроде не осрамился, а?

Вымыл стрательно кисти, вышел из избы и побрёл тихонько по опавшим листьям к лесу. И вдруг высоко, за белыми облаками, в синем небе, как тогда под Москвой, будто опять ручей зажурчал! Всё ближе и ближе к нему удивительная музыка, а вот и сами певцы, белоснежные лебеди, из синевы появились. Медленно-медленно, как во сне, машут над ним огромными крыльями, а сами ни с места.



— Куда же теперь, голубушки, зовёте?

И чувствует, что становится всё легче, легче, плавно отрывается от земли и бесшумно взмывает всё выше, выше и летит уже невидимой с земли лебёдушкой, неслышно взмахивая белыми крыльями, летит в бесконечной цепи великих и безымянных, как он, русских мастеров к бессмертию...



Литературно-художественное издание

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Юдин Георгий Николаевич

ПТИЦА СИРИН И ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ

Повесть-сказка

Ответственный редактор *С. П. Мосеичук*
Художественный редактор *Е. М. Ларская*
Технический редактор *Л. С. Степина*
Корректоры *Г. Ю. Жильцова, Т. А. Нарышкина*

ИБ № 12454

Сдано в набор 09.10.90. Подписано к печати 14.06.91. Формат 84×108 1/16. Бум. офс. № 1. Шрифт баскервиль. Печать офсетная. Усл. печ. л 11,76. Усл. кр.-отт. 49,56. Уч.-изд. л. 6,42. Тираж 100 000 экз. Заказ № 5370. Цена 6 р. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Мининформпечати РСФСР. 127018, Москва, Сущевский вал, 49.



Юдин Г. Н.


Ю16 Птица Сирин и всадник на белом коне: Повесть-сказка/Худож. Г. Н. Юдин.– М.: Дет. лит., 1991.– 111 с.: ил.

ISBN 5–08–002526–3

Повесть-сказка о жизни русского художника времён Ивана Грозного.

Ю $\frac{4803010201-332}{М101(03)-91}$ 320–91 ББК 84 Р7





6 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»



